מנחם בגין ■ בלילות לבני

Неизвестному мученику
посвящается

(c) М. Бегин

Москва–Иерусалим

ПРЕДИСЛОВИЕ

Менахема Бегина, автора книги "В белые ночи", вряд ли надо представлять читателю. Имя его хорошо и давно известно как тем, кто читает по-русски в Израиле, так и тем читателям в России, которые интересуются новейшей историей Израиля и его сегодняшней судьбой. Всем, что он когда-либо говорил, писал и делал, Менахем Бегин принадлежит еврейству, Израилю, политическому сионизму. Но эта книга – не об Израиле. Она лишь об одном небольшом участке жизненного пути автора, связывающего две точки во времени, – от ареста в сентябре 1940 года советскими властями, занявшими Вильнюс, до освобождения зимой 1941 года по амнистии польских граждан. На географической карте этот отрезок соединяет тюрьму Лукишки в Вильнюсе, родную сестру московской Лубянки, с крохотной точкой занумерованного лагпункта, спрятанного в топких болотах Печорлага.

Итак, в 1978 году читателю предлагается еще одна книга о лагерях, еще одни воспоминания лагерника. Чем такая книга может удивить читателя? Особенно читающего по-русски? Особенно после Солженицына, после целой библиотеки книг, написанных за последние годы на эту тему? Особенно теперь – когда читатель вроде бы даже устал читать все про лагеря да про лагеря и просит дать ему что-нибудь поновее и поинтереснее.

Но пусть читатель начнет с последней страницы, где обозначен год окончания книги – 1952. В тот год, последний год жизни Сталина, замышлялись в Москве новые большие посадки всесоюзного значения, с размахом готовился еврейский погром нового образца; в тот год первомайские и ноябрьские манифестации в Израиле цвели алыми знаменами не хуже, чем в Москве или Новосибирске, кибуцы украшали свои столовые и клубы портретами дорогого Вождя и Учителя; в тот год Юлий Марголин не собирал и десяти человек в тель-авивских аудиториях, куда приходил рассказывать о своем "путешествии в страну Зэка" (отметим, что он первый дал ей географическое имя) и требовать, чтобы израильские коммунисты и социалисты, преодолев партийную робость и раболепное почитание, заинтересовались судьбой еврейских узников в сталинских лагерях, судьбой сионистов, бундовцев, коминтерновцев, деятелей еврейской культуры. В тот год, когда Запад и ухом сытым не повел на все рассказы немногих счастливцев, избежавших гибели в социалистическом концлагере, – в тот год Менахем

Бегин, уже тогда признанный и давний глава израильской политической оппозиции, отвлекся от своих насущных дел, чтобы запечатлеть свой краткосрочный советский опыт. Он дал свои свидетельские показания, несмотря на то, что инстанции, обязанные вынести общественное суждение, не готовы были его выслушать. Он сказал: я это видел.

Книга Бегина не последовательница – предшественница богатой лагерной литературы, хлынувшей в брешь, пробитую в мировом равнодушии Солженицыным.

Что поразительно в этой книге, так это скорый, трезвый и верный диагноз, поставленный автором книги "В белые ночи" советскому обществу. Причем социологических обследований автор не проводил, статистических данных не собирал и не прочел гору советологических исследований. Обращаясь назад к нашему собственному опыту, опыту людей, прошедших еще во младенчестве специальную идеологическую обработку, даже как-то неловко вспоминать домашние дискуссии пятидесятых-шестидесятых годов: где произошло перерождение передового общества в античеловеческое, где советская власть свихнулась – в двадцатые или в тридцатые годы, как могло случиться все, что случилось. Сколько раз, встречаясь с лагерными мучениками, мы кидались к ним с распростертыми объятиями, ждали мысли, выращенной в страдании, – а навстречу нам протягивали руки закаленные ленинцы, не усомнившиеся, не уронившие и крупинки из "передового учения" и более всего гордившиеся тем, что ни-

какой жизненный опыт не мог научить их самостоятельно думать.

Но достаточно было трезвого непредвзятого взгляда, опыта нормальной демократической жизни, – и по крохам собственных наблюдений Менахем Бегин, человек, свободный от гипноза советской фразеологии, увидел всю систему "нового" общества. Он увидел его принципиальное беззаконие, неограниченную политическую тиранию и экономическую власть тайной полиции, полное забвение каких бы то ни было моральных принципов, широкое использование рабского труда, атмосферу террора и страха – то есть все, что так ясно нам всем сейчас и что и по сей час еще не ясно так многим. Характерно, что вне лагерных наблюдений, давших автору материал для суждений о всей советской жизни, он подробно остановился на одном лишь явлении российской действительности – на очереди. Нравы и порядки в очереди, ее значение в жизни простого человека, свобода от нее человека привилегированного и рассуждение о том, зачем советской власти очередь, выбирающая из общества излишек социальной энергии, – все это показывает, что автор глубоко проник в природу чужого и чуждого ему советского строя. Менахем Бегин вошел в советскую тюрьму свободным от советской идеологии – у него была своя, глубоко национальная, – и эта внутренняя свобода от сиротской советской "сознательности", соблазнившей так многих русских евреев, дала ему силу не только выстоять, но и увидеть. Советские евреи, а встреч с ними не мало было у нашего автора, есте-

...но привлекали его особое внимание. С огор...ением он замечает и убедительно воспроизводит ...ошение души, освобождение от родового начала ...наследства. В быстром падении вчерашнего рево...ционера, партийного деятеля перед натиском следо...ия и театрализованного судебного процесса Бе...ин не видит мистической загадки, волновавшей ...ропейские умы, а видит торжество наглого мира, ...свободившегося от гласности, и бессилие душ, за...ивших индивидуальную и народную нравствен...ость классовой моралью.

В книге Бегина есть некая старомодность, привыч...ка полагаться на слово само по себе, пренебрегая ...о спекулятивными, дискредитирующими употребле...ниями, автор как бы независим от инфляции высо...ких понятий, происшедшей в наши десятилетия, он ...ичего не знает и не хочет знать о ней. Пафос и па...етика воспринимаются им всерьез. И скептический ...итатель, отмечающий эти черты в его книге, с удив...лением вдруг ловит себя на том, что и он, почти про...тив желания поддавшись автору, воспринимает этот ...афос и эту патетику серьезно. Дело в том, что па...фос книги Бегина есть пафос искренности, это пафос ...естного мышления и честного зрения. Достоинст...о это не литературное, а – что гораздо важнее – ...равственное.

Менахем Бегин выстоял и не согнулся, потому ...то за ним была его собственная идеи, далекий мир ...одномышленников и цель, не похожая на цели его ...преследователей. У советских же евреев, верно слу...живших советской власти и попавших под частый

гребень правительственного террора, ничего не было за душой, кроме того, что было у их палачей: они говорили тем же языком, клялись теми же именами и поминали одни и те же цитаты. Что же они могли противопоставить насилию? Им и нечего было противопоставить, если не наступало прозрение.

Менахем Бегин ярче всего осознает свою причастность к одной человеческой общности – к еврейству. Эта книга позволяет понять, что вольно или невольно он принадлежит еще и другой – той общности, которая дала ему прикоснуться к величайшему страданию двадцатого века, к общности зэков, лагерников, узников тех или иных лагерей уничтожения, исправительного истребления. Великий числом и опытом народ зэков уже дал миру своих поэтов, художников, писателей, философов и ученых. Менахем Бегин первый советский заключенный, достигший поста главы правительства страны свободного мира. Об этом стоит сказать: Бегина случайно зацепила советская судьба, но десятки миллионов вполне закономерно уложены под шпалы железнодорожных магистралей, в шлюзы каналов, в основания доменных печей. В советской жизни им не нашлось другого употребления, их мысль и мозг сознательно и безжалостно были превращены в перегной истории. Свободный мир мог бы наделить их другими биографиями, иными значениями. Каждый зэк, освободившийся и живой, рассказывая о себе, говорит о них, о всех погибших, не свершивших, не живших...

Н. Рубинштейн

1. А ОРДЕР НА АРЕСТ ЕСТЬ?

"Вас просят зайти в горсовет, комната 23, с 9 до 11 часов утра, в связи с рассмотрением вашей просьбы".

Эту повестку из Вильнюсского горсовета я получил в начале сентября 1940 года, через несколько месяцев после того как Советский Союз подчинил своей военной и политической власти Литву, Латвию и Эстонию. Эти три небольших прибалтийских государства оказались в сфере влияния Советского Союза, согласно договору между гитлеровской Германией и СССР, подписанному в 1939 году Риббентропом и Молотовым. В период между разделом Польши и падением Парижа Москва ограничивалась "военными базами", сданными в аренду правительствами Таллина, Риги и Каунаса. Эти правительства были явно антикоммунистическими, но в переходный период русские с демонстративным педантизмом соблюдали принцип невмешательства во внутренние дела "хозяев баз". Литве Москва даже преподнесла замечательный национальный подарок. Около двадцати лет литовцы мечтали о Вильно, древнем городе короля Гедимина, который они называют Вильнюсом. Из-за этого Вильно-Вильнюса (евреи его называли Иерушалаим де-Лита, Литовским Иерусалимом), захваченного поляками сразу

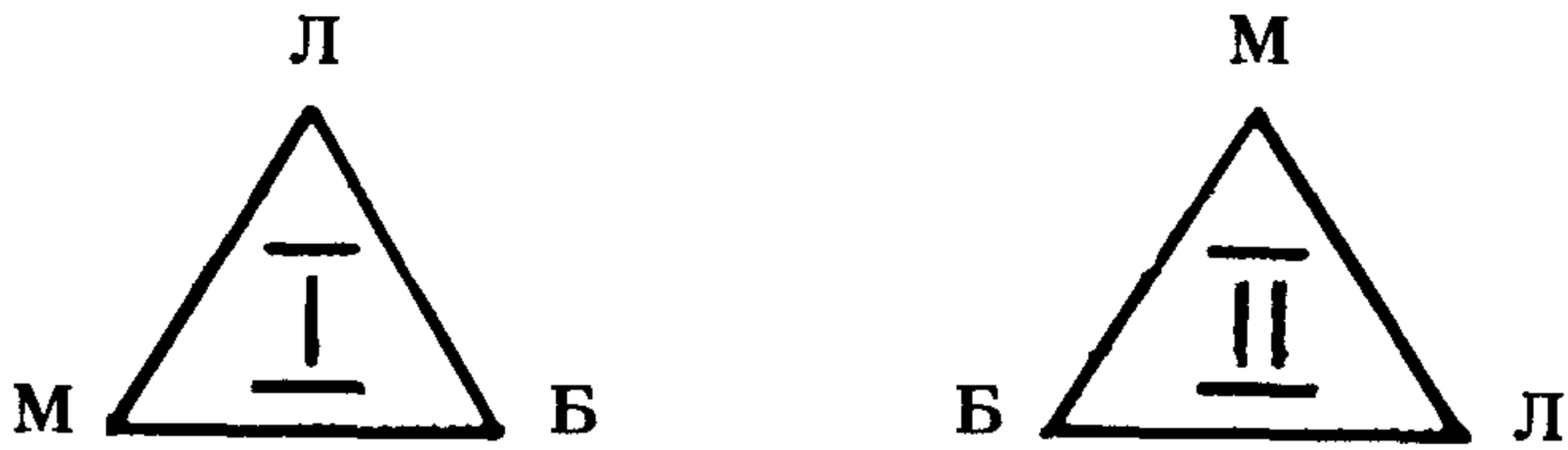
после Первой мировой войны, Литва разорвала дипломатические отношения и все другие связи со своим более мощным соседом Польшей. Каунас был объявлен временной столицей, и веру древнюю в скорое возвращение в вечную столицу — Вильнюс, поддерживали в сознании молодежи и народа книги, учебники и огромные красочные картины, которыми были увешаны стены каждого вокзала, каждого общественного здания.

Но кому дано предугадать превратности исторических судеб? Страстная мечта маленького народа, которую любой трезвый наблюдатель — независимо от его позиции — назвал бы фантастической, вдруг осуществилась, причем самым невероятным образом. Польша была раздавлена гусеницами немецких танков, растоптана солдатским сапогом; коммунистическая Россия подписала "договор о дружбе" с нацистской Германией, в соответствии с этим договором Польша была поделена на четыре части между ее могучими соседями. В число территориальных трофеев России попал и Вильно, и Литва, возродившаяся в свое время в войне против Москвы, получила от той же Москвы город своей мечты!

Но литовцы не вполне верили искренности намерений своего "благодетеля". Зимой 1940 года, в самый разгар празднеств по случаю возвращения Вильнюса, многие литовцы с горькой усмешкой говорили: "Vilnius mūsų, o Lietuva rusų" (Вильнюс принадлежит нам, а Литва — России). В эту зиму, зиму передышки, ожиданий и затаенного страха, литовцы восторгались дипломатическим умом своего "старика" —

президента Сметоны, а высокие, стройные и разодетые в пестрые униформы полицейские (евреи прозвали их "метр восемьдесят") безраздельно хозяйничали и в Вильнюсе, и в Каунасе.

В эту зиму нам пришлось услышать (не от литовцев, разумеется) восторженные отзывы о сверхчеловеческой мудрости другого "старика". Политруки Красной Армии, прибывшие вместе с воинскими частями на советские базы в Литве, охотно откликались на "частные" просьбы и с удивительной откровенностью говорили о политической тактике и стратегии Советского Союза. Один из них нарисовал два равносторонних треугольника, обозначил буквами вершины и прочитал собравшимся стратегически-геометрическую лекцию:



— Видите, — сказал русский офицер, — Европа напоминает теперь треугольник с тремя центрами силы в вершинах треугольника. Это Берлин, Лондон и Москва. Чего хотел Чемберлен? Чего добивались правящие круги Англии? Они стремились к ситуации, обозначенной первым треугольником. Берлин расположен напротив Москвы, а Лондон — сверху; Берлин вступает в схватку с Москвой, и затяжная кровопролитная война изнуряет и Советский Союз, и Германию.

Тогда — так думал и мечтал Чемберлен — Лондон спустится с вершины и наведет в Европе порядок... Но, — продолжал политрук, — в Москве имеется старинное здание — Кремль, в одной из комнат которого работает самый мудрый из всех людей, гений человечества Иосиф Виссарионович Сталин. Ему удалось в одну ночь побить все карты плутоватого Чемберлена. Сегодняшняя ситуация в Европе отображена во втором треугольнике. Берлин противостоит Лондону, а наверху наша Москва. Война, вспыхнувшая якобы из-за Польши, наверняка затянется на долгие годы. Немцы очень сильны, но нельзя игнорировать и мощь объединенных англо-французских сил. Наступит день, когда воюющие стороны потеряют последние остатки сил, и тогда мы, то есть Советская Россия, наведем порядок в Европе...

Таков был расчет. И зимой 1940 года он казался верным — как доказательство равенства двух треугольников с соответственно равными сторонами. Но свободные люди, привычные свободно мыслить, снова убедились, насколько далеки от истины утверждения, будто великие диктаторы, владеющие секретной информацией, "всегда знают, что они делают". Летом и осенью 1939 года Сталин побил карты Чемберлена — так уверяли политруки на своих лекциях в Литве, и так обучали их идеологические наставники. Но прошло менее года, и карты "величайшего гения всех времен и народов" были тоже побиты. Французский фронт, выстоявший всю Первую мировую войну, был разбит в считанные недели при самом начале Второй. К удивлению Москвы и Лондона, немецкие танки

быстро освободились для операции "Барбаросса" на востоке. Командование Красной Армии вдруг осознало, что нечего тешить себя надеждой на "длительный период выжидания и подготовки", – осталось, возможно, совсем мало времени до страшной войны с Германией. После падения Парижа одно за другим пали правительства Таллина, Риги и Вильнюса. Войска двух разных стран захватили удаленные друг от друга куски Европы, но причинная связь между этими событиями бросалась в глаза: в то время как немецкие танки стремительно двигались по просторам Франции, русские танки брали один за другим города прибалтийских стран. Вместо правительств, "сдававших в аренду" военные базы, в одну ночь были сформированы коммунистические правительства, приветствовавшие "освободителей". Это делалось весьма просто: без самостоятельного внутреннего переворота, а по мере продвижения Красной Армии. Не стало советских баз в прибалтийских странах: эти страны сами превратились в советские базы. Таким образом, теперь оправдались обе части популярной поговорки – Вильнюс отошел к Литве, но вся Литва перешла к России.

Вскоре многие жители Литвы стали получать повестки и "приглашения". Меня "пригласили" в ... Вильнюсский горсовет.

Я не обращался в горсовет ни с какой просьбой. Мы жили в небольшом поселке, в нескольких километрах от города, и я не имел никаких дел с городским начальством. В те дни и в тех условиях нетрудно было догадаться, в чем смысл и каковы цели "муниципаль-

ного" приглашения. В то же время требовалось немало скепсиса, чтобы не удивляться странной и грубой ошибке советских филеров, отправивших это невинное на вид приглашение. Как горячие энтузиасты, так и враги советского строя верят в почти безграничное могущество советской секретной службы, охватившей своими щупальцами весь мир. Министерство внутренних дел Советского Союза унаследовало, пожалуй, легенду, которой многие десятилетия был овеян британский Интеллидженс сервис. Но это всего-навсего легенда. Волею судьбы я весьма близко столкнулся с секретными службами этих стран и могу уверенно сказать, что обе они не страдают нехваткой тупоголовых. На основании собственного опыта могу посоветовать: не верьте в загадочную мудрость секретных служб – русской, британской или любой другой. И на них распространяются обычные пропорции ума и дурости, находчивости и недоразвитости. Они далеко не всемогущи.

НКВД решил арестовать меня, но его сотрудники почему-то считали нужным сделать это тайно, чтобы я, так сказать, "тихо исчез". Однако их методы были далеко не профессиональны. Они пригласили меня в горсовет "в связи с моей просьбой", не потрудившись проверить, обращался ли я когда-либо с просьбой к отцам города – предыдущим или нынешним.

Они хотели, чтобы я попался в ловушку, но в действительности они меня своим приглашением просто предупредили. Я решил не отвечать на приглашение и не идти в комнату № 23, где, как мне удалось выяснить, был технический отдел Вильнюсского горсовета.

Разгадав замысел чекистов, я мог попытаться скрыться, бежать в другой город. Не могу утверждать, что мне удалось бы ускользнуть от их лап, но нет сомнения, что я сумел бы какое-то время скрываться у друзей в другом городе. Однако я принял двойное решение: не идти в горсовет и не скрываться. Причина первого решения проста и ясна. "Если советская власть решила меня арестовать, — сказал я себе и друзьям, — пусть его агенты придут ко мне домой. Это их работа". Причины второго решения не так просты, но о них рассказывать не стану. НКВД в конце концов меня арестовало, хотя и не в соответствии с первоначальной режиссурой.

"Начальник технического отдела" горсовета ждал меня, по-видимому, несколько дней, ждал с достойным всяческих похвал терпением, но затем сообщил вышестоящему начальству в другом здании, что приглашенный неразумно не пожелал позаботиться о самом себе — и не явился. Возможно, что люди, которым было поручено заняться мной, посмеивались и говорили друг другу: "Ничего, он еще придет". Пока что они сами заглянули ко мне без приглашения — на этот раз речь шла не об аресте, а о слежке.

Однажды утром у нашего маленького домика появились двое мужчин и одна женщина. Они то стояли, то прогуливались вокруг дома, но постоянно что-то высматривали. Они тоже не проявили достаточного профессионализма и сразу же выдали себя. Мы подвергли их испытанию, которого они не выдержали. Я попросил жену поехать со мной в город. "Если сыщики задержат меня в пути или в городе, — сказал я

ей, – мы еще успеем попрощаться, а если их роль заключается лишь в слежке за мной, имеет смысл узнать их получше". Мы отправились на железнодорожную станцию, и тут же за нами увязался "хвост": агенты НКВД, а за ними наши друзья. В поезде "караван" расположился в том же порядке: мы с женой в головном вагоне, в следующем – ищейки, а в третьем вагоне – наши друзья.

Сходя с поезда, мы заметили, как провожатые глазами передают нас людям, ожидающим на вокзале. Работа была настолько грубая, ошибки настолько явные, что сомнений быть не могло: сейчас арестуют. Но нет, беспрепятственно и с новыми провожатыми мы вышли в город. Шли теми же тремя отдельными группами. К вечеру, в том же порядке, вернулись домой.

Десять дней продолжалась эта игра. Разумеется, если человек видит своих преследователей, слышит их шаги, знает об их намерениях, он не может быть счастлив. Впрочем, при определенных обстоятельствах, когда принято твердое решение, он вовсе не чувствует себя особенно несчастным. Но счастливы ли сами охотники? Есть ли работа более презренная, чем охота за людьми? Однажды мне пришлось увидеть ужас на лицах ищеек. В тот день я им отомстил. Сделал я это из чисто спортивного интереса – от шутки нельзя отказаться ни при каких обстоятельствах. Но позднее я пожалел тех, которые вначале караулили меня, а потом бежали по моему следу, как охотники за дичью... Я почти сожалел, что сыграл с ними шутку. Какими растерянными, испуганными, какими

несчастными они выглядели! Больше я таких "шуток" не повторял.

Близился решающий день. В нашем маленьком домике, казалось, ничего [illegible]зменилось. Мы продолжали рано вставать и соб[illegible]ть хворост в золотистом осеннем лесу. Дома мы [illegible]али, спорили, смеялись друг над другом, играли в шахматы, наблюдали за "сторонами". "Они все еще здесь?" — спрашивали мы друг друга по утрам. "Ты все еще здесь?" — спрашивали меня друзья вечером. Мы ждали. Но "что-то" уже витало, разумеется, над нашими головами.

В ту осень действительность была ужаснее самых кошмарных снов. Париж пал. Франция капитулировала. Британская армия утешала себя удачным отступлением. Миллионы евреев попали в руки Гитлера и Гиммлера. Огромные, неисчислимые толпы евреев, в большинстве своем мечтавшие о возвращении в Сион, очутились у запертых границ советского режима, всегда считавшего стремление к Сиону "националистическим отклонением". Кричать об "отклонении" всегда нужно было советскому режиму, чтобы доказать, что он не является проеврейским, как это утверждают его враги, использующие вечную ненависть народных масс к евреям; это нужно было, чтобы доказать: карающая рука революционного правосудия настигает евреев в той же степени, что и русских, украинцев, поляков, узбеков. Перед НКВД, мол, все равны... Разумеется, преследование евреев за то, что они евреи, отличается от преследования евреев — "врагов революции" рядом важных идеологических и моральных оттенков, хотя зачастую различие только

3441К

МА 8К1

психологическое. В те дни один умный литовский еврей из среднего класса сказал мне: "Ни у Гитлера, ни у Сталина мы не получим пряников, но между ними имеется одно различие. Сталин отнимает у меня шубу, Гитлер отнял бы душу, остается радоваться, что я "здесь", а не "там", у нацистов". Но недолго утешал себя этот еврей примитивно сформулированным различием. С ним случилось то же, что и со многими другими евреями: за шубой вскоре отобрали и душу...

Одна катастрофа следовала за другой. В самый разгар всех этих трагедий – общечеловеческих, национальных и личных – умер Жаботинский. Если бы я попытался объяснить, посвятив этому много страниц, что означала для меня смерть руководителя Бейтара, посторонний человек меня бы не понял. В данном конкретном случае понятие "посторонний" распространяется и на моих соплеменников. Поэтому скажу только: безвозвратно ушел носитель надежды, а с ним – тоже безвозвратно? – ушла сама надежда...

Куда ни посмотришь: горе, страдания, море страдания, глубокое и широкое море. Не обычное, не ограниченное страдание, а не страдание одиночек, восставших против гнета или нищеты. Страдание от смертельного страха, страдание народа, попавшего в руки убийц, страдание миллионов простых людей, у которых единственная цель – их собственная жизнь и жизнь детей.

Стоя перед морем страдания, прислушиваясь к его волнам – воплю мучеников, стону заключенных, которые в массе своей не вожди, идеалисты или партийные деятели, а самые простые люди, – ты не можешь

отделаться от мысли, что нет более несправедливого неравенства, чем неравенство в страдании.

Никто не спорит, страдание как таковое не есть цель жизни и никто к нему не стремится. Обычно человек спрашивает: "За что я страдаю?" Обычно человек пытается избежать страданий, уклониться от них. Но в дни массовой катастрофы, в условиях всеобщего краха, человек часто спрашивает: "За что они страдают?" Первый, естественный порыв – помочь, спасти, утешить. Но когда исчерпаны слова утешения, когда нет возможности протянуть руку помощи, начинаешь все сильнее ощущать неравенство в страдании – и это чувство ужасное, почти лишающее жизнь смысла. Поэтому можете поверить, что в тот день, когда агенты советской секретной службы пришли за мной, чтобы отправить меня в длинный неведомый путь, в сердце моем не было страха; наоборот, я даже почувствовал какое-то облегчение.

Они пришли в ясный осенний день – начальник и два помощника. Первый сердито спросил:

– Вы почему не явились в горсовет? Ведь вас вызывали.

Глупый вопрос. На него последовал наивный ответ:

– Я не обращался в горсовет ни с какой просьбой. Если у горсовета есть ко мне дело, пусть их служащий придет сюда.

– Вам все же надо сходить в горсовет, ведь вас пригласили, – сказал примирительным тоном другой сыщик.

– Нет, не пойду.

– Пойдете, – глухо проговорил главный.

Мне надоело играть в прятки, и я перешел на сердитый тон:

– А кто вы, собственно, такие? Почему все время ходите вокруг нашего дома? Кто дал вам право врываться в частную квартиру? Если не перестанете нарушать наш покой, мне придется обратиться в милицию.

Лицо главного засияло:

– В милицию? Пожалуйста, идемте сейчас же в милицию.

– Сейчас не пойду. Пойду, когда сочту это нужным.

– Если не пойдете по своей воле, поведем силой, – взорвался один из них.

– Да? Так скажите, кто вы такие. Где ваши удостоверения? Если не предъявите документы, никуда с вами не пойду.

Взгляды энкаведистов скрестились, и после короткого молчания начальник протянул мне бумагу.

Под его испытующим взглядом я рассмотрел документ, который оказался очень официальным удостоверением офицера НКВД Литовской республики. Выяснилось то, что было ясно с самого начала.

– Значит, – сказал я примирительным тоном, – вы пришли арестовать меня. Почему же вы это скрыли? Почему не сказали сразу? А ордер на арест у вас есть?

..."А ордер на арест у вас есть?" Из какой дали эхом доносятся эти слова! Воображение переносит меня в Брест-Литовск, в страшную ночь двадцатилетней давности, когда город покинула армия Троцкого и Тухачевского и в него вступила польская армия. Агенты

польских органов безопасности пришли тогда арестовать моего отца, обвинив его в помощи большевикам. Отец был старым сионистом, секретарем еврейской общины и нередко, рискуя собственной жизнью, спасал евреев от каторги или смертной казни. Поляки обвиняли евреев в клевете на свою армию, в передаче секретной информации большевикам. Да много ли надо? В глазах антисемитов каждый еврей – большевик. Неудивительно поэтому, что в ночь одного из "официальных" погромов пришли и за моим отцом. Но он спасся благодаря вовремя заданному вопросу: "А ордер на арест у вас есть?"

Вот так может повернуться колесо: спустя двадцать лет я задаю тот же вопрос, но не польским сыщикам, а большевистским. Я понимал, что ареста этот вопрос не отсрочит, и все же задал его. То ли заговорил во мне юрист, то ли сказался атавизм.

– Ордера на арест у нас нет, но вы правильно заметили: мы пришли вас арестовать и имеем право применить силу, если откажетесь идти с нами добровольно.

– Хорошо, хорошо, – ответил я. – Теперь ясно, что вы пришли арестовать меня. Так позвольте собрать необходимые вещи.

Моя жена и супруги Шайб, жившие в одном с нами доме (здесь жили также мой шурин покойный д-р Арнольд и друг моего детства Йоэль Керельман) молча слушали наш диалог. Батья Шайб вдруг заплакала. Я ее успокаивал. Моя жена не плакала: к моему аресту она была внутренне готова. С д-ром Шайбом мы

обменялись замечаниями по поводу интересной шахматной партии, прерванной "гостями".

Как только сыщики раскрыли свои намерения, мы изменили отношение к ним. Жена предложила им чай. Они несколько недоуменно посмотрели на нас, поблагодарили, но вежливо отказались, заметив, что не могут больше задерживаться. Поэтому я ускорил "приготовления". Взял буханку хлеба на дорогу. Начистил ботинки. Из вещей ничего не взял. Сыщики заметили, добродушно посмеиваясь, что меня наверняка сегодня же освободят и отпустят домой. При этом они согласились, чтобы я взял с собой две книги. С их стороны это было "милостью", приправленной изрядной долей доверия: речь шла о действительно "контрреволюционных" книгах, но знать этого сыщики не могли. Одна из них была на английском языке, который я незадолго до этого начал изучать: книга Моруа о Дизраэли. Вторая книга была на языке, названном ярым коммунистом-евреем "фашистским". Это был Ветхий Завет.

Я простился с д-ром Шайбом и Ьатьей. Жене разрешили проводить меня до машины, поджидавшей на некотором расстоянии от дома. Я сделал первый, решающий шаг в неизвестное: вышел за порог своего дома в качестве арестованного. Мы спустились во двор. Хозяева дома, глубоко верующие католики, опустили головы, когда я пожелал им всего хорошего. Возможно, они боялись. Но их несомненно поразила странная сцена: коммунистическое правительство арестовывает их квартиранта-еврея!

По дороге к машине я заметил своего друга Давида Ютина, уже несколько недель ждавшего ареста. Мы простились издалека – взглядами. С женой обменялись несколькими словами. Для долгих разговоров не было времени. Да и о чем можно много говорить в такие минуты? Я сказал, что, видимо, скоро вернусь, но в любом случае прошу ее не вызывать жалость у людей. Она ответила одним коротким предложением: "Не волнуйся, все будет в порядке".

– Не забудь сказать Шайбу, что в последней партии у него было преимущество, и можно считать, что он выиграл.

– Не забуду, – ответила жена.

Через несколько минут предоставленный мне роскошный лимузин свернул за угол, но я все еще видел перед глазами жену и прощальный взмах ее руки...

2. ВЛАСТЬ НКВД

Вскоре мы подъехали к серому зданию в центре Вильнюса – управлению НКВД. Когда-то в длинных коридорах этого здания не умолкали голоса адвокатов, судей, подсудимых и полицейских: это был польский окружной суд. Осенью 1940 года отсюда словно ветром сдуло истцов, ответчиков и их адвокатов; остались, вернее – появились новые заключенные, стражники, судьи. Сцена нисколько не изменилась; сменились только действующие лица. И эта перемена более любых других символизировала, пожалуй, происшедший в нашей жизни революционный переворот.

В университете студенты-коммунисты часто пели песню, каждый куплет которой заканчивался словами "И судьями будем мы". В этой песне слышались одновременно глубокая вера и угроза страшной мести. Не думаю, чтобы эти бедные парни, идеалисты, всерьез намеревались стать судьями своих судей. Но они глубоко верили в возможность мести: наступит день, и судьи предстанут перед судом, тюремщики будут посажены в тюрьмы, а преследователи подвергнутся преследованиям. Это программа революции, хотя и не ее конечная цель. И вот этот день наступил. В здании, где польские судьи судили

коммунистов, коммунисты судят польских судей. Однако многих моих несчастных сверстников, отчаянных борцов за коммунизм, эта месть не могла утешить: их прежние преследователи подверглись-таки преследованиям и судьи предстали перед новым судом, но сами-то они, приверженцы "нового мира", оказались не среди новых судей, они – на скамье подсудимых! Об их трагедии, равной которой нет в истории человечества, я еще расскажу. Я видел их восторг и видел их душевный надлом; я видел их на вершине счастья и видел в бездне человеческого отчаяния. В жизни я не видел более дикого восторга, более черного отчаяния, более глубокого падения.

С одним из новых судей, появившихся на "сцене справедливости", я столкнулся, едва переступив порог порогов советского государства – порог НКВД. Я сидел в обычной комнате у стола и читал о похождениях молодого Дизраэли. Вдруг в длинном коридоре послышались гулкие шаги, бесшумно открылась дверь, и я увидел двух арестовавших меня агентов и еще одного – нового. Нетрудно было догадаться: началось следствие.

Новый, оказавшийся следователем, сухо поздоровался, уселся за письменный стол напротив меня и спросил, как меня зовут (наверняка мое имя было ему известно). Я ответил. Второй вопрос касался раскрытой книги. Он не удовлетворился названием и попросил рассказать что-нибудь о ее авторе и содержании.

Это напоминало скорее не следствие, а дружескую беседу. Мы посмотрели друг на друга. Он глядел,

моргая маленькими глазками, с пытливым интересом, характерным для людей его профессии: я был не первым подследственным, с которым он завязывал "дружескую беседу", а потом наносил неожиданный удар. Для меня же это был первый следователь НКВД, с которым меня столкнула жизнь. Передо мной открывался новый, полный таинственных загадок мир. Я знал, что за "изучение" этого мира взимается очень высокая "плата", но было какое-то удовлетворение в том, что я могу, хотя и в результате фантастических пертурбаций, познакомиться вблизи, изнутри с владыками царства НКВД, с их методами и стилем. Сидя напротив следователя, я чувствовал себя скорее не заключенным, а сторонним наблюдателем, учеником. Такова сила любознательности! Но далеко не все время пребывания в НКВД мне удавалось сохранять внутренний статус наблюдателя – часто оставался только статус заключенного. И все же по опыту могу сказать: в любых условиях стоит разбудить в себе любознательность, скрытую в каждом человеке. Даже если окажешься на дне жизни, в непроглядной тьме – открой пошире глаза и наблюдай, учись! Пока ты учишься, следователи-мучители не сумеют установить желанных им отношений: они "наверху", а ты – "внизу". Разговаривай с ними, как равный с равными. Тверди себе, что грубость и низость вокруг тебя есть одновременно и материал для познания, и тогда сумеешь выдержать испытание унижением и остаться человеком.

В ходе беседы-следствия я хотел понять характер своего следователя. Кто он, "чекист"? Типичный чекист, воспитанник школы, в которой преподают таинственные методы ломки человека? Как он будет меня допрашивать? Что он хочет вытянуть из меня?

Я не заметил ничего особенного ни во внешности, ни в поведении своего визави. Он был в гражданском сером костюме и при буржуазном галстуке. Похож немного на еврея, но быть в этом уверенным нельзя. Даже если его мать зажигала в канун субботы свечи, мне это не сулило никаких поблажек, но я много дал бы, чтобы узнать, верно ли мое предположение. Мой любопытный взгляд не ускользнул от следователя, он вдруг прервал беседу и сердито спросил:

– Почему вы на меня так смотрите?

Я вынужден был извиняющимся тоном ответить, что смотрел на него безо всяких задних мыслей.

– А вам известно, для чего вас сюда пригласили? – спросил он вдруг.

– Для чего пригласили? – переспросил я с удивлением.

– Да, я хочу знать, известно ли вам, для чего вас пригласили?

– Причина мне не известна, но я знаю, что меня не пригласили, а арестовали.

Я сделал ударение на слове "арестовали", а не на вежливом определении "пригласили".

– Кто сказал, что вас арестовали? – с упреком спросил следователь. – Никто вас не арестовывал. Я

просто хотел с вами побеседовать. Я задам вам несколько вопросов. Если ответите искренне, как честный человек, тут же вернетесь домой. Кстати, вы женаты?

– Да.

– Сколько ей лет?

– Двадцать.

– Молодая. Наверняка ждет вас. Но не беспокойтесь, как только ответите на вопросы, вернетесь к ней. Вы должны считать себя свободным человеком, а не арестованным. Говорю вам еще раз: вы не арестованы, а приглашены на беседу со мной, и в вашей власти решить, вернетесь ли вы домой.

С совершенно естественным смехом в голосе я сказал:

– Для чего создавать иллюзии? Я знаю, что я арестованный и в качестве такового отказываюсь отвечать на вопросы.

Он все еще не хотел отступить и с растущим недовольством спросил:

– Кто сказал, что вы арестованы? С чего вы это взяли?

– Люди, которые привели меня сюда, сказали, что я арестован.

Он подскочил, словно ужаленный змеей.

– Что? Они сказали, что вы арестованы?

Он не стал ждать повторного подтверждения и, оставив дверь открытой, выбежал в коридор. Со своего места я заметил офицера, приглашавшего меня в горсовет, а потом услышал громкий голос следователя. Сквозь поток донесшихся до меня слов

я ясно расслышал несколько загадочных ругательств, которые, как я позже узнал, пользуются правами гражданства в царстве тьмы, хотя формально они запрещены советским законом. (Видно, даже при всемогущей власти некоторые писаные законы отступают перед законами жизни. Да и как может русский человек, пусть ему даже поручено охранять закон, выражать свои чувства – в минуту ярости или в минуту радости – без матерщины?) Бедный чекист что-то ответил (до меня донеслось лишь несколько приглушенных слов), и следователь вернулся в комнату с полоской пены на губах.

Теперь стало ясно, для чего требовалась вся эта комедия с приглашением в горсовет, для чего агенты десять дней играли со мной в прятки: они решили арестовать и "ликвидировать" меня обычным путем. Они могли просто и открыто сделать это, но им хотелось скрыть от меня свои истинные намерения. Позднее я узнал, что не только меня наметили поймать в капкан с помощью невинного на вид "гражданского" приглашения. В большинстве случаев люди приходили во всякие там учреждения по приглашению, шли с тяжелым чувством, в надежде, что после разбора дела их отпустят домой. (Предупреждение Данте о надеждах, которые следует оставить, не украшает вход ни в одно вспомогательное учреждение советской секретной службы.) Эту первую (но не последнюю) иллюзию всеми силами стараются заронить в душу арестованного чекисты. Человек, сознающий, что он арестован органами НКВД, вряд ли поверит в серьезность обещания, что если расска-

жет правду, то сразу пойдет домой. Но человек, "приглашенный для беседы", человек, которого вежливо просят ответить на несколько вопросов, вполне может поверить такому обещанию. Желание уйти из рук любой секретной службы очень сильно, но ничто не может пойти в сравнение со стремлением вырваться из лап энкаведистов! Создатели науки НКВД знают, что обработку жертвы лучше всего начинать с использования этого инстинкта. Поэтому ордер на арест остается в деле, а факт ареста отрицается. Первый допрос – это "беседа", и "если расскажете правду – не то, что вам известно, а то, что следователь хочет услышать, – пойдете домой, вернетесь к своей семье".

Таков метод. Трудно сказать, к какому успеху он приводит. Тот, кто своими глазами видел возможности НКВД, почувствовал на себе работу "специалистов", не может понять, для чего столь мощной машине понадобился такой примитивный метод воздействия. Разве станет человек признаваться в приписываемых ему страшных преступлениях только потому, что следователь (вернее – "собеседник") обещал отпустить его на свободу (вернее – не лишать свободы)? Разве Наркомат внутренних дел так уж прославился частым и скорым освобождением арестованных или "приглашенных"? Тысячи людей "приглашались на беседы" и бесследно исчезали. Но какими бы примитивными и детскими ни называли эти "приглашения" и "обещания", в них все же есть какая-то логика, утвердившаяся система. Дело в том, что, когда появляется у человека надежда,

он отказывается видеть опыт других, он всегда считает себя исключением: "Может быть, у меня все же есть шанс?"

Лишь испытав на себе эту систему, можно понять смысл парадоксального выражения "реакционный прогресс". Когда-то, еще до эпохи "прогресса" коммунизма и социализма, были выработаны определенные отношения общества и государства к человеку, совершившему преступление или подозреваемому в этом. "Именем закона вы арестованы", – говорил представитель властей и клал на стол ордер на арест, подписанный прокурором. Арестованного отвозили в заключение, он устанавливал связь с семьей и адвокатом, и таким образом начинался открытый судебный процесс, который завершался либо доказательством вины и наказанием, либо оправданием и освобождением. Эти простые и привычные правила не достались человечеству "бесплатно"; многие сотни лет эти правила не соблюдались, и введение их вновь революционным путем обошлось человечеству в море крови и слез. Но вот наступил "революционный прогресс" наших дней, и мы отступили в давнишнюю эпоху, когда власти вправе тайно арестовывать, похищать граждан и держать их в подземельях.

Помню, как мои сверстники студенты-коммунисты смеялись над гарантией свободы личности, называя ее пережитком прошлого. С помощью диалектического материализма они доказывали, что все эти гарантии – мнимая "надстройка", возведенная на истинном "базисе" эксплуататорского строя,

чтобы обмануть эксплуатируемых и зародить в их сердцах иллюзию свободы. При встрече с ними или с еще более важными коммунистами в царстве НКВД я уже не слышал насмешек по адресу пережитков прошлого. Беседуя на эту тему в перерывах между допросами, они глубоко вздыхали: они истосковались по "старому миру", который в этом "новом", еще более старом мире, казался не менее удивительным, чем мифы Древней Греции.

Органы Наркомата внутренних дел создали еще один парадокс. Их власть над людьми почти безгранична. В любой момент они могут кого угодно арестовать и – с признанием или без оного, со свидетелями или без них – осудить. И все же НКВД предпочитает не арестовывать, а "приглашать", действовать не открыто, а тайно. В отношениях между странами сегодня подобные секретные, окольные действия обычны, но в данном случае этот метод применяется в пределах одного государства, к целому народу – узникам НКВД. Истории известно немало случаев, когда граждане создают подполье, чтобы действовать против власти; в Советском же Союзе власть создала подполье для действий против граждан.

Следствие возобновилось, и я, разумеется, не мог думать обо всем этом; минутное удовлетворение сделанным открытием и недоумение по поводу детского примитивизма еще больше сбивали с толку. Следователь снова повторил – не таким, правда, убедительным тоном, – что "если расскажу правду", то отпустят домой. Какую же "правду" хотел

он из меня вытянуть заведомой ложью, произносимой с добродушной улыбкой?

– Вы политический деятель? – спросил он.

– Да.

– Какой?

– Сионист.

– Членом какой сионистской организации вы являлись?

– Бейтар.

– Были рядовым членом или состояли в руководстве?

– Состоял в руководстве.

– Какой пост занимали?

– Возглавлял организацию Бейтар в Польше.

– Много людей было в организации?

– Да, десятки тысяч.

– Прекрасно. А теперь расскажите мне все, все до конца о вашей антисоветской деятельности в Вильнюсе.

– В такой деятельности не участвовал.

– Врешь!!

До сих пор следователь вежливо обращался ко мне на вы, но в этом месте допроса он вдруг перешел на ты. В моем положении не стоило, может быть, обращать внимание на такие мелочи, но "пережитки прошлого" не позволили мне смириться с неожиданной переменой в отношении следователя.

– Я читал, – сказал я ему, – что представители советской власти обращаются с гражданами вежливо, и поэтому прошу мне больше не тыкать. Во-вторых, я не вру.

– Я не хотел вас обидеть, – сказал следователь. – Вижу, что вы человек грамотный, но быть таким гордым не стоит. Главное – рассказать правду, но этого вы, кажется, делать не хотите. Подумайте немного, вы себе же оказываете медвежью услугу.

В течение часа этот диалог повторялся с легкими вариациями множество раз. В сказанном мною (или в "признании", по словам следователя) было, по понятиям энкаведистов, достаточно обличительного материала, чтобы меня "ликвидировать". Правда, в моих ответах не было ничего нового для следователя: в Польше мы действовали открыто и легально, и материал о нашей деятельности был в избытке передан советским следственным органам осведомителями-евреями. Верно, что я не рассказал ему о ночных собраниях в Вильнюсе, Каунасе и других городах Литвы, посвященных памяти Зеэва Жаботинского. Не рассказал о траурном митинге в день Поминовения (Азкара) руководителя Бейтара на вильнюсском кладбище, где собрались десятки бейтаровцев: Йосеф Глазман, который потом руководил бойцами вильнюсского гетто; Исраэль Эпштейн, погибший в Риме на боевом посту как офицер ЭЦЕЛя; Авраам Ампер, один из помощников Авраама Штерна, погибший, как и его командир, от рук британских агентов; Натан Фридман и д-р Шайб – будущие руководители ЛЕХИ, д-р Ютан, который чудом избежал советских лагерей, но угодил в британский концлагерь в Эритрее, Иерахмиель Вирник, редактор газеты "Йозма" в Государстве Израиль, поэт Шломо Скульский и многие другие. На этот

митинг мы тайно принесли наше знамя; собрались у могилы молодого бейтаровца, погибшего в снежную бурю неподалеку от Вильнюса при попытке добраться до Эрец Исраэль. Мы молились, пели песни Бейтара, гимн восстания и веры в возрождение Израиля, и под развевающимся над кладбищем бело-голубым знаменем мы поклялись при любых обстоятельствах и любой ценой выполнять завещание Учителя, сохранить веру в возрождение нашего народа. "Мы еще удостоимся чести сражаться за Сион, – сказал я собравшимся. – Но если этой возможности нас лишат, мы будем страдать за Сион. В любом случае мы выполним свой обет".

Разумеется, с точки зрения советской власти, все это было политическим преступлением, то есть самым тяжким иа свете преступлением. Но чем могли эти траурные собрания повредить Москве? При власти, с пеной у рта преследующей любое "отклонение от нормы", этот вопрос звучит, конечно, более чем наивно, но задавали мне его искренне, и поэтому на вопрос следователя о моей "антисоветской деятельности в Вильнюсе", я отрицал эту деятельность тоже совершенио искренне. Но в ходе следствия я понял, что речь шла вовсе не об этих мелочах; следователь добивался "признания в шпионской деятельности и подготовке актов саботажа"! За такую "правду" он обещал мне на словах – возвращение домой, а в душе – могилу.

Арестованный в качестве "политического преступника" гражданин не обвиняется в совершении конкретных действий – в начале следствия ему ин-

криминируют самые тяжелые преступления, причем шпионаж и саботаж относятся к "обычным" обвинениям. Пораженный их абсурдностью, арестованный все отрицает; следователь упорно требует "полного признания" и "всей правды"; арестованный доказывает свою правоту, но часто, опровергая ужасные, фантастические измышления, он признается в других (тоже не совершенных им) действиях.

Верил ли мой следователь в выдвигаемые им обвинения? На это мне трудно ответить. Допрос длился уже несколько часов, и следователь, еще раз повторив, что своим поведением я оказываю себе медвежью услугу, прервал вдруг монотонный диалог и сказал:

– Я оставлю вас одного. Вот бумага, ручка, чернила. Пишите. Пишите все о своей жизни и деятельности. Но советую писать правду. Нам и так все известно... Вы еще можете вернуться к жене. Подумайте хорошенько и пишите правду.

По-русски я писать не умел, а на вопросы отвечал, пользуясь смесью русских и польских слов и выражений. Поэтому я спросил следователя, на каком языке мне писать автобиографию: на польском или идиш.

– Все равно, – ответил он. – У нас переводят со всех языков. Но я лично предпочел бы идиш. Ведь я тоже еврей.

– Правда? – непроизвольно вырвалось у меня.

– Да, я еврей, и поэтому можете мне доверять. Пишите правду.

3. ШЕСТЬДЕСЯТ ЧАСОВ ЛИЦОМ К СТЕНЕ

Иногда вспоминаются те Curricula Vitae, что приходилось сочинять перед поступлением в школу или перед экзаменами. Кто мог тогда предположить, что наступит день и придется писать: "Родился в 1913 г... Поступил в школу... Закончил учебу..." и т. д. ...для поступления в Высшую Школу Страдания, для университета НКВД? Я всегда тосковал по школьной скамье, но никогда тоска по ушедшей юности не была столь щемящей, как в те минуты, когда я сочинял "Автобиографию" по требованию "правдолюбцев" из НКВД. В такие минуты в душе человека происходит чудесное превращение: реальность как бы перестает существовать, приятные грезы вытесняют действительность. Собственно говоря, это минуты слабости: человек, сдающий самый трудный из всех экзаменов – испытание страданием за веру и стремления,– не вправе задаваться вопросом, вернется ли прошлое. Он обязан помнить, что любящая мать не утешит его своим прикосновением и счастье юношеских лет больше не вернется. Реальность – это жестокое пробуждение от грез: нет дома, нет матери, нет сестры, нет друга; есть НКВД, есть следователь, требующий "правды"... Поэтому пиши короткую историю жизни и готовься к длинному

пути. Перед тобой бумага, чернила и перо, предоставленные стражами революции, а позади — солдат с винтовкой и штыком Пиши!

Солдат с винтовкой появился в комнате, как только меня оставили наедине с письменными принадлежностями. Его впустил низкорослый вертлявый старшина, и с этого момента я не знал одиночества — ни в кабинете следователя, ни в другом месте. Солдат стоял посреди комнаты, положив руку на приставленную к ноге винтовку и буравил меня своим неподвижным взглядом. Он молчал. Я писал.

В своем сочинении я подтвердил, что со школьной скамьи и до назначения руководителем Бейтара в Польше трудился для дела возвращения еврейского народа на его историческую родину. Затем я раскрыл книгу Моруа и снова погрузился в давнюю эпоху, когда уже были, правда, сионисты, но ни один из них не мог предположить, что наступит день, когда его мечты будут объявлены преступлением. Охранник не мешал мне читать. Я увлекся книгой и забыл о времени.

Вдруг открылась дверь, и в комнату быстрыми шагами вошел мой следователь. К моему удивлению, он подошел сперва к солдату и предъявил удостоверение. Солдат внимательно рассмотрел бумажку, сказал: "Порядок" — и вышел из комнаты. Затем энкаведист уселся за стол и участливым тоном спросил:

— Ну, кончили уже писать? Дайте почитать.

Я протянул ему свою биографию.

Он взял в руки листок, исписанный моими каракулями, бросил взгляд на квадратные буквы и отложил мой труд в сторону. Он не читал. Даже не пробовал. Да и знал ли он вообще свой родной язык?

Был ли следователь знаком с древними буквами или нет – не важно. Он не обратил внимания на им же заказанное сочинение и снова задал свой нудный вопрос:

– Теперь вы готовы рассказать мне правду?

Я ответил, что все изложено на бумаге, и это правда. Если за эту правду мне положено сидеть в тюрьме, – буду сидеть.

– Знаете, у нас имеются средства, чтобы заставить вас говорить правду.

На это мне нечего было ответить.

– Вы почему молчите? – взорвался следователь. – Думаете, отделались этим клочком бумаги? Я еще прочитаю, что здесь написано, но советую еще раз хорошенько подумать о своем положении; стоит поумерить свое упрямство.

Много раз (кто знает сколько?) повторил следователь свои требования, предупреждения, намеки и угрозы. Много часов прошло с минуты, когда я переступил порог темной камеры. Меня арестовали в полдень, а к концу второй "беседы" на улице была уже непроглядная тьма. Хотелось есть и еще сильнее – пить. Я спросил следователя, могу ли я получить воду.

– Да, разумеется, я организую вам чай.

Я не понял, почему нужно что-то "организовывать", но приятному обещанию обрадовался, так как жажда меня очень мучила.

Следователь снова вышел, но тут же появился мой сторож с винтовкой. В ожидании чая я снова раскрыл книгу о жизни лорда Биконсфилда.

Стрелки часов, которые все еще были на моей руке, успели обежать несколько кругов. Я читал до смены караула в здании НКВД. В комнату вошла группа солдат, и низкорослый старшина приказал одному из них остаться, а моему сторожу и остальным солдатам велел выйти. Мой прежний сторож прошептал что-то на ухо старшине.

– Так? – прогремел старшина и тут же обратился ко мне:

– Я слышал, вы проводите время за чтением книг. Вы, может, думаете, что у нас тут изба-читальня? Кто позволил вам читать?

– Следователь позволил, – ответил я.

– Следователь? Следователь не имеет здесь права слова. В этой комнате командуем мы. Охрана подчиняется мне, а у меня свой командир. Следователь не уполномочен... С этой минуты – никаких книг! Садитесь!.. Сюда!

Старшина велел мне встать и переставил стул в угол комнаты. Край стула едва не касался стены. Идея старшины все еще не дошла до меня во всей своей глубине, и я уселся более или менее "по-человечески": лицом к двери и спиной к стене.

– Нет, у нас так не сидят, – поторопился старшина исправить мою ошибку. – Повернитесь лицом

к стене. А ты, – обратился он к новому сторожу, – следи, чтобы он не двигался и не брал книгу.

Мое положение изменилось коренным образом: вместо книги перед глазами была стена. Но в первые минуты после изгнания из рая (в любой ситуации у каждого человека имеется свой "рай", из которого он может быть изгнан) я думал не о блеклой стене и об историях, которые она могла бы рассказать мне вместо Моруа. Я думал только о странном и решительном заявлении старшины: "Следователь не уполномочен... Здесь командуем мы..."

Следователь тоже говорил: "Мы знаем все", "Лучше расскажите нам правду". Чем отличается "мы" следователя от "мы" старшины? Один из них офицер НКВД, другой – младший командир в том же учреждении. Я вспомнил, как офицер НКВД, мой следователь, предъявил документы караульному, то есть рядовому НКВД, и лишь после этого приступил к исполнению своих обязанностей. Значит, на первом этапе ареста в системе НКВД имеется четкое разделение обязанностей. Задача следователя – вытянуть признание, и ему, несмотря на офицерское звание, разрешается только вести "беседу" в известной форме; непосредственная власть над арестованным находится в компетенции другого аппарата, и это двоевластие наверняка исчезает где-то там, на одной из высших ступеней руководства НКВД.

Ни в заключении, ни на свободе мне не удалось узнать, когда и кем было введено это единственное в своем роде разделение власти. Вполне возможно,

что оно было введено еще в ЧК или ГПУ Дзержинским; но можно предположить, что оно возникло позднее, когда пришел конец идеалам Октябрьской революции. Если органы арестовывают большевистских руководителей, имена которых еще вчера с трепетом и почтением произносили миллионы людей, то вполне естественно, что смотреть за арестованными поручают караульному или стрелку – рядовому солдату, который шутить и умничать не любит. Офицер-следователь тоже выполняет волю властей и добивается увещеваниями и угрозами "полного признания" от арестованного, которому он только вчера кричал ура. Но офицер-следователь "грамотный", он знает, кто сидит перед ним, и в этом, видимо, кроется определенная опасность. Как бы чего не вышло... А рядовой не знает ничего, кроме дисциплинарного устава. Он едва умеет читать, и поэтому на него можно положиться. Если старшина приказал ему охранять арестованного, "преступника", он будет его охранять от всех, и от офицера-следователя в том числе... Арестованный – Ягода, бывший командир командиров НКВД? Ну и что? "Преступник" – бывший Председатель Президиума Верховного Совета СССР? Это не имеет ровно никакого значения для рядового. После революции в России сформировалась новая собственная интеллигенция, но власти и ей не доверяют. Полагаться можно только на малограмотных.

Советской власти или власти НКВД свойственны и другие парадоксы. Сила этой власти безгранична, но ее используют с необычайной осторожностью,

часто граничащей с манией страха. Власть существует и создана для народных масс, но доверяет она только НКВД, при этом основа даже и этого доверия – в недоверии. Если судить по числу людей, находящихся под наблюдением и "на попечении" НКВД, у советской власти очень много врагов; но власть не верит не только своим настоящим и мнимым врагам; она не верит своим почитателям, слугам, своим защитникам... "Мы здесь командуем", – сказал мне низкорослый старшина, и перед моими глазами предстал "судья", в руках которого, казалось бы, моя судьба, а он у рядового солдата просит разрешение продолжить следствие.

В дальнейшем следователю не раз приходилось доказывать свою правомочность часто сменявшейся страже. Около шестидесяти часов я просидел лицом к стене. Прошла ночь, прошел день; еще одна ночь и еще один день – и лишь на исходе третьей ночи кончилось необычное сидение и началось сидение "обычное"... Возможно, слова "шестьдесят часов" не произведут никакого впечатления на читателя; спустя тринадцать лет я и сам пишу их с неимоверной легкостью. Мне даже повезло: многие просидели лицом к стене восемьдесят, сто часов и даже больше. Но я предлагаю каждому читателю проделать очень простой эксперимент: приставить стул к стене и просидеть на нем два часа, упираясь коленями в стену и глядя в одну точку. Уверен, что, проделав этот частичный эксперимент – он частичный не только по времени, – читатель поймет мою жал-

кую, но искреннюю радость, когда после шестидесяти часов мне разрешили лечь на тюремный тюфяк.

Сосредоточив взгляд на пятне на стене, можно листать воспоминания, как раскрытую книгу. Тогда пятно поможет оживить давно забытые картины. Оно напомнит о родительском доме; о слезах мальчика, получившего в школе плохую отметку — не за незнания, а потому что не хотел писать в субботу... Пятно на стене позволит памяти развернуть великолепный парад новой гордой еврейской молодежи, вызвавшей слезы восхищения на глазах и благодарственную молитву на устах стариков; оно вернет узнику первую встречу с Учителем: небольшой зал провинциального театра переполнен, и для тебя, подростка, нет места ни в партере, ни на шумной, грозящей обвалиться галерке; с трудом тебе удается пробраться под сцену, в оркестровую яму; ты сидишь внизу, слушаешь и вдруг ощущаешь, что слова оратора поднимают тебя ввысь, ввысь. Ты покорен? Нет, это не то слово. Кто-то шепчет на ухо: "Ты будешь верен мне, идее, всегда, всю жизнь?" И ты отвечаешь: "Да, буду верен". Пятно на стене воскрешает повесть о юношеской любви, о счастье, которое приносит человеку только первая любовь. Пятно заставляет вспомнить о голодной студенческой жизни, о крыльях, вырастающих у студента, сдавшего экзамен, несмотря на нищету (а может быть — благодаря ей?!). Оно вызовет в памяти первое важное поручение, которое тоже ведь выполнялось на голодный желудок. Оно расскажет о первом неудачном выступлении, завершившемся словами

утешения и колкими насмешками (а утешения были хуже насмешек), и о последующих речах, закончившихся по-иному. Оно напомнит о первой тюремной камере, в которую ты попал из-за "неспокойной" демонстрации у британского консульства, демонстрации протеста против закрытия границ Эрец Исраэль перед евреями. Пятно на стене очень кстати воскресит в памяти первую встречу с польскими уголовниками (и этот опыт очень пригодится при последующих встречах с русскими урками). Помнишь опытного преступника, постоянного обитателя тюремной камеры, профессионального вора-комбинатора по кличке Граф и по фамилии Потоцкий? А дальше, упершись взглядом в пятно на стене, ты вспоминаешь о борьбе против превращения Эрец Исраэль в "Палестину", о группе еврейской молодежи из Бейтара, которая на небольшом суденышке добралась до заветного берега, высадилась под покровом ночи и проложила дорогу тем, кто, пройдя мучительный путь нелегальной иммиграции, попал в Эрец Исраэль до Второй мировой войны, во время войны и по ее окончании. В первой группе — ты помнишь? — был Шалом Табачник из нищего квартала еврейского гетто Луцка, он прославился позднее под именем Шломо Бен-Йосеф. Ты вспоминаешь съезды и конференции, встречи и споры, взлеты и падения, горести и радости, истории о любви и ненависти, дружбе и вражде. Держись взглядом за пятно на стене — и, нырнув в глубины полузабытого прошлого, ты выплывешь мечтой к грядущим событиям: к радости встречи после долгой разлуки с лю-

бимой и друзьями, к продолжению борьбы за идею, ставшую целью жизни... Одно-единственное пятно на стене может вывести тебя из четырех стен страшного здания, поднять над "мертвым домом" НКВД и перенести в мир живой – в твой внутренний мир. В эти часы в душе человека, по внутреннему приказу, одна действительность сменяется другой: полностью исчезает навязанная тебе реальность и появляется та, к которой стремится душа и над которой не властен даже НКВД.

Я не излагаю теории, не занимаюсь мистикой. Я рассказал о том, что происходило вокруг и внутри меня в те шестьдесят часов неподвижного сидения вплотную перед стеной. Так прошли часы. Одному Богу известно, как бы они прошли без всего этого.

"А как со сном? – спросит читатель. – Неужели не хотелось спать все эти трое суток?" Вопрос весьма уместный. В Талмуде говорится, что человек, не смыкающий глаз трое суток, умирает. Но может быть, человек просто не может не закрывать глаза семьдесят два часа подряд? Те, кому в жизни повезло и не пришлось испытать пережитое многими моими современниками, не знают, в каких условиях человек может обрести спасительный покой, называемый сном. Разве не может человек спать стоя? В этом я убедился не только в России, но и в Польше и Чехословакии, когда я дни и ночи ездил в битком набитых поездах. А разве нельзя спать на ходу? Этот способ я испробовал, когда мы с Натаном Фридманом и нашими женами пешком проделали путь

из Варшавы до восточной границы Польши, убегая от немецких танков. Целые недели мы шли почти безостановочно под градом немецких бомб, которые довоенная польская пропаганда называла "бумажными" и которые теперь безжалостно снимали свой смертельный урожай. Я не преувеличиваю: мы шли и спали на ходу.

По сравнению со всем этим здесь, в помещении НКВД, у меня были "идеальные" условия для сна. Я не стоял, не шел — я сидел. С другой стороны, прав был старшина: комната для допросов — не избачитальня, и кресел в ней нет; жесткий стул почти упирается в стену, и неизвестно, что делать с несчастными коленями. Все же я сидел, то есть занимал лучшее из четырех возможных положений (за исключением, разумеется, "горизонтального"). Поэтому за шестьдесят часов задремывал не один раз. И сны не всегда были кошмарами. Но едва я засыпал в ярко освещенной солнцем или электричеством комнате, солдат мягко прикасался ко мне рукой и тихим голосом (а то разбудит?) говорил:

— Спать запрещено.

И снова открытые глаза смотрели в одну точку. И снова снились сны наяву. На сей раз кошмары.

Но не только солдат (его, беднягу, тоже лишали нормального сна) прерывал ленту сновидений. Время от времени, днем и ночью, в комнату-камеру входил следователь и задавал все тот же вопрос:

— Ну, вы готовы говорить правду?

На стандартный вопрос я давал стандартный ответ. Следователь не сердился и не угрожал. Он улыбался.

Я не пожаловался ему на приказ старшины и на сидение у стены. Есть положения, в которых – попал ты в них по собственному желанию или против своей воли, – необходимо отказываться от многого, и прежде всего следует избегать жаловаться. Как правило, жалобы не приносят облегчения, а лишь доставляют дополнительное удовольствие мучителям. Входя в камеру, следователь, конечно, видел, как я сижу. Улыбаясь, он задавал свой вопрос, улыбаясь, выслушивал ответ и уходил, оставляя меня в той же позе. Он все видел и жаловаться не имело смысла.

Но одна жалоба, вполне законная, у меня имелась: он обещал "организовать" чай, но чая все не приносили. Еда – Бог с ней: тут бутербродами не обносят. Впрочем, еда иногда не так важна: организм забывает о ней. Трехдневный пост в таких условиях выдержать не так уж трудно. Но жажда – дело иное, о ней организм не забывает ни при каких обстоятельствах.

Следователь обещал мне чай, так пусть принесет! Каждый раз я напоминал ему о чае, как ростовщик должнику. Следователь каждый раз с улыбкой отвечал:

– А, вы все еще не получили? Ничего, потерпите, я организую чай.

Снова: "Организую".

Шестьдесят часов я прождал, но чай так и не был "организован". Если следователь еще жив – не погиб на фронте, не ликвидирован как еврей, не переведен в положение подсудимого – он наверняка и теперь продолжает "организовывать" чай.

Прошло шестьдесят часов. В гомеопатической дозе мне дали почувствовать особый метод воздействия; возможно, лишение сна является самой страшной пыткой, изобретенной еще инквизиторами.

В последнюю ночь мой следователь не явился. Пришли другие люди, и один из них приказал мне одеться и взять с собой вещи. Меня посадили в машину, в которой уже были незнакомые мне люди. Ехали быстро и в довольно "комфортабельных" условиях. Один из пассажиров плачущим голосом жаловался, что его арестовали по ошибке; дома, – рассказал он, – остались без средств к существованию жена и грудной ребенок. Все молчали. Один из конвоиров цыкнул на говорившего и на чистом русском языке объяснил:

– Если вы невиновны, вас после допроса освободят. В Советском Союзе, в отличие от капиталистических стран, людей без причины не арестовывают. Но если и придется вам немного посидеть, о жене и ребенке можете не беспокоиться. Не забудьте: вы живете в советской стране!

Арестованный замолчал. Конечно, он не забыл, он помнил и продолжал беспокоиться.

У меня же было одно желание – спать.

4. ЗАКОН МЕСТИ

Один режим уходит, другой приходит, но тюрьма остается тюрьмой. Революция открывает тюремные ворота, и на свободу выходят жертвы павшего режима; и тут же ворота закрываются за новыми арестантами — жертвами нового режима. А человечество продолжает жить в ожидании революции революций, которая не заменит одних заключенных другими, а уничтожит тюрьму.

Толстые стены хранят отметины о революционной борьбе против царского режима, о стремлении к национальному освобождению поляков и литовцев, о борьбе коммунистов против польского и литовского правительств, о преследовании литовцев поляками и о преследовании поляков литовцами, о преследовании литовцев и поляков новой властью. Надписи на шести или семи языках, среди которых в последнее время право гражданства завоевал иврит.

Первый день пребывания в Лукишках я посвятил изучению новой среды и знакомству с соседями. Среда оказалась новой, но не вовсе незнакомой. Небо в крупную клетку я уже видел — близко и изнутри — много лет назад в варшавской тюрьме. С глазком в двери для слежки за каждым движени-

ем заключенного я тоже был знаком. Польские урки называли его "юдаш" в честь Иуды Искариота, олицетворения предательства в глазах христианина. В Лукишках глазок называли так же, и не только уголовники. Человек, оказывается, может ненавидеть не только людей, но и вещи; ненависти более глубокой, чем выпавшую на долю неодушевленного предмета с клеймом христопродавца, я в жизни своей не видел. Что еще можно найти в клетке для людей? Соломенный тюфяк, нары, прикрепленный к полу столик, хромоногую табуретку, маленькую миску. А где главная принадлежность? Самая главная? Где параша? Она тоже здесь, и картина становится полной. Вильнюсская камера была похожа на варшавскую и наверняка – на все камеры, на все клетки, созданные людьми для людей; ничего нового, и хорошо не быть зеленым новичком в тюрьме.

И все же в Лукишках было нечто новое. Это нечто витало в воздухе и действовало не на тело, а на душу заключенного. В воздухе любой тюрьмы носится вопрос: когда я выйду отсюда? В тюрьме НКВД вопрос звучит по-иному: выйду ли я отсюда? "Когда я увижу своих близких?" – спрашивает обычный заключенный. "Увижу ли еще раз своих близких?" – спрашивает узник НКВД. "О чем будут спрашивать?" – с тревогой думает обычный человек, нарушивший закон; "Как будут допрашивать?" – мучается человек, которого НКВД обвиняет в мнимом преступлении. "Какого адвоката пригласить? Кого назначат судьей? Кого пригласить в качестве свидетелей? Когда состоится суд? Какое наказание

предусматривает закон?" – все эти вопросы в любой стране задает себе обвиняемый; их не задаст узник НКВД, он знает, что вопросы эти неуместны. В "старом мире" они имели смысл; в "новом мире" смысл имеет только один вопрос: "Куда сошлют?"

Но в день, когда за мной закрылись железные ворота Лукишек, в день, когда я оказался в неведомой прежде полной изоляции, вопросов я не задавал. Спрашивали меня. Задавали бесчисленное множество вопросов, и я обязан был отвечать. Мой сосед по камере изголодался по новостям. Его арестовали за шесть недель до меня. Сорок дней он просидел один. Неудивительно, что соскучился по обыкновенной человеческой беседе. Неудивительно, что хотел узнать о событиях в "большом мире", происшедших с момента его изоляции от внешнего мира и людей. Я сделал все возможное, чтобы удовлетворить это понятное любопытство.

Мой первый сосед оказался мелким помещиком, офицером польской армии; его обвиняли в принадлежности к тайной организации, но ему вовсе не надо было уходить в подполье, чтобы при советской власти оказаться за решеткой. Первым вполне веским прегрешением было его социальное происхождение. К тому же, будучи мелким помещиком или крупным кулаком, он подлежал ликвидации в качестве такового. К первородному греху моего соседа прибавился еще один, тоже достаточно архаичный: за двадцать лет до ареста он сражался в рядах польской армии против русских. Теперь его допрашивали по всем трем пунктам, но особенно поражал-

ся он третьему. "Как можно вменять в вину службу в армии своей страны? – беспрестанно повторял он. – Разве в 1920 году в Риге не был подписан мирный договор между Польшей и Советским Союзом? Разве можно обвинять гражданина в выполнении гражданского долга?" Эти вопросы были правильны с точки зрения общепринятых правил и законов. Но как мог мой сосед знать правила и законы, принятые в НКВД? Только на собственном опыте мы узнали, что один из основных законов НКВД – это закон мести. У нас был сосед – семидесятивосьмилетний дряхлый старик. Он казался развалиной – глаза потемнели, уши не слышали, ноги не носили его, даже в туалет мы несли его на руках. За что арестовали этого немощного старца? В 80-х годах прошлого столетия он начал свою военную карьеру и дослужился до командира полка в царской армии. Более двадцати лет он на пенсии, но ни возраст, ни инвалидность не спасут его от наказания за службу царю. Его приговорили к восьми годам "исправительно-трудовых лагерей", но он обманул НКВД и "вышел на свободу" не на восемьдесят шестом году жизни, а на семь лет раньше. Старый полковник (обычно он просил соседей: "Не называйте меня полковником. Не видите разве, что я больше на сукиного сына стал похож?") умер через год после ареста. Закон мести не знает жалости. И если он применяется к дряхлому, умирающему старику, то как не применить его к людям, у которых полжизни впереди?

Мой первый сосед был человек средних лет, образованный и культурный. Приятно было с ним беседовать и есть за одним столом. Казалось, он сидит не в запертой вонючей камере, а в роскошной гостиной. И в обычных условиях такие манеры красят жизнь, но в тюрьме их значение вырастает во сто крат. По выражению старого полковника, "это скрашивает мерзость тюремной жизни и сохраняет связь – через бетонные стены и железные ворота – с миром, из которого нас вырвали".

Мой сосед не был также лишен чувства юмора. Будучи гордым поляком, он позволял себе иногда отпустить шутку в адрес своих соплеменников. С особой иронией он отзывался о польских офицерах, пришедших из царской армии и не умевших даже говорить правильно по-польски. Один из них, знаменитый генерал, выступил, по словам моего соседа, с восторженной речью в День независимости и заявил на своем "сочном" польском языке: "Три жестоких завоевателя поделили между собой нашу несчастную родину. Один кусок отхватили проклятые немцы, второй – австрийцы, а главный кусок хапнули мы"... Этот анекдот не устарел; с легкими изменениями его мог бы в недавние дни повторить маршал Рокоссовский.

Приятно было шутить с моим соседом, но жить с ним в одной камере было нелегко. Его манией была аккуратность. В жизни не видел я большего педанта, предпочитавшего порядок в вещах нормальным отношениям с людьми. Любовь к порядку –

свойство очень похвальное. И если важен порядок в обычной жизни, то тем более – в тюремной камере. Нам приходилось устанавливать очередность "прогулок": в ширину камера имела два с половиной шага, и разгуливать по ней вдвоем мы не могли. Мы по очереди драили блестящий бетонный пол, выносили и выливали парашу, должны были терпеть друг друга... Чтобы терпеть друг друга, необходим был порядок в нашей маленькой общей клетушке, в которую нас забросило волной судьбы. Но мой сосед был холостяком и педантом. То ли он остался холостяком из-за своего педантизма, то ли холостяцкая жизнь сделала его педантом. Он был буквально болен любовью к порядку и мог целыми днями сердито молчать, если я, к примеру, нечаянно клал свою деревянную ложку на часть столика, которую он в первый день нашего знакомства объявил своей.

НКВД смилостивился над нами, посадив в нашу камеру арбитра – третьего заключенного. Это был капрал польской армии, портной по профессии, человек молодой, неграмотный, но умный. Мы сдружились с ним, когда я начал давать ему уроки по истории Польши и других стран. Он учился с удивительным усердием и беспрестанно зубрил очередной урок. "В тюрьме, – говорил он с горькой усмешкой, – я хочу наверстать то, чего не получил в школе". Эти уроки, читавшиеся по памяти, помогали нам коротать длинные часы и дни. Мой первый сосед помогал капралу готовить уроки, но часто забывал об этом в заботах о порядке в камере. Нам с капралом

пришлось привыкнуть к периодическим приступам недовольства нашего соседа-педанта. Иногда он "порывал отношения" со мной, иногда с капралом, но порой бойкот объявлялся нам обоим. Таким образом, между мной и капралом возникла какая-то негласная, но естественная солидарность товарищей по несчастью, хотя оба моих соседа были поляки, а я – еврей.

Однажды этой солидарности пришел конец. В тот день мы спорили о войне и международном положении – наиболее частый сюжет тюремного спора. Начали с Франции и Западного фронта. Бывший офицер рассказал, что в дни передышки он получил письмо от друга, который после капитуляции Польши бежал во Францию и служил в армии Сикорского. Письмо было проникнуто оптимизмом. "Наши конные части, – писал друг, – не могли, разумеется, выстоять перед немецкими танками, но во Франции много танков и самолетов, это сила, на которую можно с уверенностью полагаться". "И вот выясняется, – продолжил наш сосед, – что эта сила, в которую нам всем хотелось верить, оказалась слабее нашей армии и продержалась еще меньше времени. Разве это не доказательство, что мы "были в порядке" и после победы швабов занялись неоправданным самобичеванием?" Второй сосед, капрал, вздохнул: "Да, если бы у нас было столько танков и самолетов"... В их словах чувствовалось непонятное удовлетворение поражением Франции, союзницы Польши. Оно, конечно, было смешано с сожалением, сожалением о победе вечного жестокого врага, но все же это было удовлетворение...

Потом я узнал, что такие же чувства испытывали и выражали в то время почти все поляки. Правду говорят: страдающий от порока – будь то человек или народ – утешает себя тем, что у ближнего порок еще сильнее.

В ходе спора мы перешли от франко-польской темы к отношениям между Россией и Германией. До ареста все мы видели железнодорожные составы с нефтью, продуктами и разными товарами, проходившие через Вильнюс из России в Германию. Все мы читали поздравительную телеграмму Гитлера в день шестидесятилетия Сталина. Все мы читали ответ советского диктатора о том, что союз между Россией и Германией является кровным союзом... И все же мы считали, что столкновение между "кровными союзниками" неизбежно и является вопросом времени. Это было, разумеется, общее мнение: в "балтийском коридоре" инстинктивно чувствовали, что сам коридор, разделяющий двух гигантов, должен исчезнуть; а с его исчезновением испарились последние сомнения в скором столкновении между Россией и Германией. Не могли обмануть тут ни официальные заявления, ни внешние проявления добрососедских отношений и взаимной помощи между Москвой и Берлином.

Мои соседи говорили о предстоящем столкновении между швабами и москалями с нескрываемым наслаждением. На то были не столько национальные (они понимали, что Польша неизбежно будет поделена соседями), сколько личные причины. Бывший офицер сказал:

– Как бы там ни было, если вспыхнет война между Германией и Россией, мы выйдем из этой вонючей клетки.

Капрал добавил:

– Я думаю, что швабы побьют москалей, и если немцы придут сюда, нас выпустят на свободу. А вы, пан Бегин, не волнуйтесь, мы вам поможем, мы за вас замолвим слово.

– Я, господа, не разделяю вашей радости, – ответил я. – Столкновение между Германией и Россией, разумеется, неизбежно. Если Гитлер одолеет Англию, он захочет покорить и Россию, а если Гитлеру не удастся справиться с Англией, он вынужден будет начать войну против России. Но не стану скрывать, этот анализ приводит меня в ужас. Я думаю о том, что в случае германо-советской войны в руки Гитлера попадут миллионы евреев. Что с ними будет? Вы утверждаете, что война даст нам шанс выйти из Лукишек. Я тоже хочу выйти на свободу, но за такую цену мне свобода не нужна. Я предпочитаю оставаться в тюрьме, лишь бы они не попали в руки гестапо. Разумеется, все это теория, и развитие событий не зависит от нашего желания. Но к чему отрицать? Я не молюсь о германо-русской войне.

Сосед-офицер вскипел:

– От вас, пан, я другого и не ожидал. У вас один критерий: что хорошо и что плохо для евреев. Мне давно говорили о еврейской солидарности, но теперь мне ясно, что от этой солидарности вы не отказываетесь никогда и нигде, даже в тюрьме...

Мой ученик капрал тоже вспылил:

– Да, евреи всегда солидарны. Не отрицайте этого, пан Бегин, вы же сами сказали, что лучше нам сгнить в этой вони, лишь бы евреям не было плохо.

Что мог я ответить? Мои соседи говорили о "еврейской солидарности", как о тяжком грехе, о коварном заговоре. "Боже милостивый, – подумал я. – Чего только не делали евреи, чтобы доказать свою несолидарность? В каждой европейской войне, за исключением последней, евреи одной воюющей стороны уничтожали евреев другой воюющей стороны. Евреи известны пристрастием к внутренним раздорам и множеству мелких партий и течений. Кто может сравниться с марксистами еврейского происхождения в их отчаянной борьбе против "пережитка прошлого" – национальной солидарности и за "наднациональную" солидарность?! Сколько жертв принесено ими на этот алтарь! И все напрасно. Легендарная "еврейская солидарность" существует и будет существовать вечно – в мыслях неевреев. А коли так, – спрашивал я себя, – не пора ли снять с нее навет "заговора"? Не является ли наша судьба чем-то исключительным? Не пришло ли время превратить "еврейскую солидарность" из легенды неевреев в гордость самих евреев?"

Не имело, конечно, смысла задавать все эти вопросы соседям. Кроме того, я совершил грубую психологическую ошибку, заявив, что не присоединяюсь к их немым молитвам – молитвам-надеждам заключенных, молитвам-утешениям несчастных. Я сказал им:

– Господа, дай Бог, чтобы и в самом деле существовало то, что вы называете "еврейской солидарностью".

Оба они улыбнулись. И улыбка эта была горше их слов. Между нами пролегла тень: по одну ее сторону оказались помещик и капрал, а по другую — я. За длительное пребывание в камере эта тень несколько поблекла, но до конца она так и не исчезла.

Едва появившись в нашей камере, капрал объявил себя неверующим, прямым атеистом. Он рассказывал анекдоты о ксендзах, не соблюдающих обета воздержания. С особым удовольствием повторял он анекдот о ксендзе, который в проповедях просил: "Дети мои, слушайте меня внимательно, не берите с меня пример". Демонстративный атеизм очень сердил офицера, глубоко верующего католика, много времени уделявшего молитвам. Интересно и странно было наблюдать за безграмотным католиком, отошедшим от веры отцов, и высокообразованным человеком, усердно выполнявшим все предписания церкви — насколько позволяла это большевистская тюрьма.

Но в одно прекрасное утро мы с офицером были поражены, увидев в углу камеры погрузившегося в тихую молитву капрала. Кончив молиться, он перекрестился и после короткого колебания стыдливо сказал: "Буду молиться каждый день. Я снова верую". Офицер забыл об очередном своем бойкоте и горячо пожал руки обоим соседям. Мы стали свидетелями возрождения веры и могли в дальнейшем подтвердить, что именно она помогла капралу справиться с черным отчаянием, выпадающим на долю каждого узника НКВД. Могу также сказать, что безграмотный капрал был не единственным заключенным в Лукишках, об-

ратившимся от атеизма к искренней вере. Многие заключенные, среди них интеллигенты и даже закоренелые скептики – ученые, с каждым днем и после каждого ночного допроса все выше поднимали глаза и обращались через тюремные стены к таинственной силе: может быть, сжалится... У сломленного человека нет опоры, нет утешения, кроме веры. НКВД вернул многих безбожников на путь веры... И ночи в Лукишках подтвердили нам, что не столько человек хранит веру в хорошее время, сколько вера охраняет человека в нужде.

В атмосфере, воцарившейся в нашей камере после возвращения капрала к вере, совершенно естественным было понимание, с которым оба соседа встретили мое заявление, что с сегодняшнего вечера и до конца завтрашнего дня я откажусь от приема пищи. Прежде они скорее всего посмеялись бы над моим "фанатизмом". Мы сидели уже много дней, и пища советской тюрьмы давала себя знать. Мы уже не были голодны: мы – голодали. Понять разницу между двумя этими ощущениями может лишь человек, которому приходилось ложиться спать голодным, вставать голодным и снова ложиться спать с уверенностью, что встанет голодным. В этих условиях человек может подтвердить самую жуткую из цитат Ветхого Завета: "И нет у человека преимущества перед скотом". Сколько обитателей Лукишек шли на всяческие унижения, чтобы получить добавку – ложку супа? Как вылизывали они остатки остатков на дне мисок? Сколько узников НКВД скатывали хлебный мякиш в шарик и смотрели на него, не решаясь проглотить, как смотрит человек

на дорогую жемчужину? Когда-то многие из них жили счастливо, зажиточно, но пришлось им испытать вкус постоянного голода – и они начали считать каждую крупинку сахара из той половины ложки, что получали ежедневно для подслащения темно-бурой жидкости, которую здесь называли "кофе".

Надо быть "сумасшедшим", чтобы в таких условиях отказаться от вечерней порции баланды, утренней порции темно-бурого "кофе" и еще одной порции баланды днем. "Ты с ума сошел?" – спросили бы соседи безбожники. Но мои соседи, нашедшие утешение в вере, не спрашивали так, не смеялись и не пытались меня отговорить. С трудом удалось мне уговорить их поделить между собой пищу, от которой я отказался в Судный день, в день поста.

Меня арестовали в канун Рош-Ашана, и поэтому нетрудно было вычислить, на какой вечер выпадает Йом-Кипур и когда надо попросить охранника положить мою порцию в миски соседей по камере. Охранник удивился:

– Что случилось? Болен?

– Нет, не болен. Сегодня у меня Судный день.

– Судный день? Что это такое? И какое это имеет отношение к еде?

– Я еврей, и в Судный день евреи не едят.

– Брось глупости, ешь – на мою ответственность!

Он говорил участливым доброжелательным тоном, и я поблагодарил его за готовность "взять на себя ответственность". Он приоткрыл дверь, скорчил гримасу, отдаленно напоминавшую улыбку, и сказал:

– Ну, давай миску, налью.

– Нет, нет, – поторопился я исправить ошибочное впечатление, произведенное словами благодарности. – Налейте, пожалуйста, моим товарищам.

– Чудак, – пробормотал он.

Охранник пожал плечами и налил в протянутые миски добавку – добавку, полученную за счет еврейского Судного дня и поста, не отмененного в Лукишках, несмотря на готовность одного из стражей революции и сторожа арестантов "взять на себя всю ответственность".

Что будет со мной в следующий Йом-Кипур? Что будет с моей женой, оставшейся на "свободе"? Что будет с престарелыми родителями, с братом и сестрой? Что будет с десятками тысяч моих единоверцев? Что будет с моими собратьями по ту и по эту сторону границы?

Мозг не в состоянии ответить, и отвечает встревоженное сердце молитвой и трепетом.

Повторяя про себя передававшиеся из поколения в поколение слова молитвы, я снова чувствую, как исчезают непроницаемые преграды между мной и моими близкими. Исчезла камера, исчезли стены и появилась во всем великолепии ярко освещенная синагога, я вижу бедный родительский дом, освещенный любовью матери, чистотой и верой. Ночь "Кол-нидрей" в тюрьме НКВД, Судный день в Лукишках – такая ночь тоже может быть ночью утешения, такой день тоже может стать днем единения со всем светлым, что бывает в жизни человека.

Ночь прошла, день сменился вечером, и сразу после Судного дня наступили ночи допросов.

5. КТО НА "Б"?

На допросы меня выводили по всем правилам хорошо отработанной методики. Через несколько часов после сигнала "отбоя" со скрипом отворялась дверь камеры. Мы тут же просыпались. Как заключенные со стажем, мы умели засыпать при свете яркой лампы, которая давала охране возможность наблюдать за нами и во время сна. Сон особенно глубок в первые часы ночи, но гул шагов, лязг ключей и скрип двери прерывали самые сладкие сны.

Проснувшись, мы смотрели на дверь. На пороге уже стояли рядом с дежурным охранником два человека в форме.

– Кто здесь на "Б"? – тихо спросил один из них.

В НКВД это значит: чья фамилия начинается на букву "Б"?

По законам советского "мертвого дома" заключенного не называют полным именем: не дай Бог, услышат в соседних камерах или охрана ошибется дверью... Только в самых исключительных случаях охранники имеют право входить в камеры "врагов народа". По всем этим причинам наука НКВД выработала правило, по которому заключенного вызывают с порога: "Кто на "А"? или "Кто на "Я"?, а заключенные отвечают изнутри. Если вызываемый

тут, его ответ услышат только сокамерники (если таковые имеются); если произошла ошибка, обитатели камеры так и не узнают, кто, кроме них, попал в лапы НКВД.

В нашей камере только моя фамилия начиналась на "Б". Я отозвался.

— Имя-отчество? — спросил он, не отрываясь от списка.

— Менахем Вольфович.

— Одевайтесь. На допрос!

Я оделся. Соседи молчали. Говорили только их глаза. Я вышел из камеры. Вдоль перил винтовой лестницы была натянута металлическая сетка: как бы заключенный не сбежал в такое место, откуда даже НКВД не сумеет привести его на допрос... По пути два или три раза передо мной открывались ворота. Пришлось пройти несколько длинных дворов. Лукишки — тюрьма большая. Вдруг мне приказали остановиться и повернуться лицом к стене. Мы простояли иесколько минут. Я не видел ничего, кроме стены, но за спиной слышались шаги. Догадаться было нетрудно: ведут на допрос другого заключенного, и по законам науки НКВД я не должен видеть его лицо, а он — мое. В другом дворе я прошел мимо заключенного, стоявшего лицом к стене. Углом глаза удалось увидеть его спину — секретность оказалась не без трещин.

Наконец меня ввели в маленькую, теплую, хорошо освещенную комнату и приказали сесть возле письменного стола. Охранники вышли, и я немного насладился видом "человеческой комнаты". Вско-

ре тихо вошел и уселся напротив меня человек в форме капитана и с наганом у пояса.

– Вы Бегин? Менахем Вольфович Бегин? – спросил он, предварительно оглядев мою бритую голову и заросшее лицо.

– Да.

– Я ваш следователь, и это наша первая встреча. У нас будут и другие встречи. Длительность следствия зависит только от вас, от ваших ответов. Кстати, я читал все, что вы для нас написали, но это чепуха. Все это можно выбросить в корзину. Придется рассказать правду. В камере вы наверное поняли, что у нас лучше говорить правду.

– Задавайте вопросы, – попросил я. – Кстати, как мне к вам обращаться?

Во время первого следствия в помещении НКВД мне пришлось много лавировать, чтобы избежать прямого обращения, вроде "господин", "пан". Я знал, что в Советском Союзе такая форма обращения считается порочной, но сомневался, могу ли я называть следователя товарищем, как это принято в коммунистическом обществе. У моего соседа по камере, польского офицера, сомнений по этому поводу, несмотря на всю его гордость, не было: он решил, что с "товарищами" стоит сдружиться. Но когда он обратился со словом "товарищ" к охраннику, тот сердито отозвался: "Серый волк тебе товарищ!" Мне не хотелось удостоиться подобного ответа, но в ходе длительного следствия трудно будет уклониться от прямого обращения, и поэтому я задал приведенный выше вопрос.

— Вы должны называть меня "гражданин следователь", — спокойно ответил офицер НКВД. — А теперь скажите, когда вы стали сионистом?

— В детском возрасте.

— В какую организацию входили?

— С десяти до тринадцати лет был в Ашомер ацаир, а с пятнадцати являюсь членом Бейтара.

— Вижу, что преступную деятельность вы начали очень рано.

— Почему преступную? Я думаю, что моя деятельность была правильной и законной.

— Вы "думаете"? Очень важно, что думает Менахем Вольфович Бегин... А я заявляю, что вы крупный политический преступник, вы хуже убийцы десяти человек!

— Но почему, почему?

— Потому что вся ваша деятельность была антисоветской и контрреволюционной.

— В чем она была антисоветской?

— Оставьте этот тон. Вы пришли сюда отвечать на мои вопросы, и я не намерен отвечать на ваши. Кто завербовал вас в Бейтар?

— Никто не завербовал. Я сам вступил.

— Этого не может быть. Когда у нас вступают в комсомол, требуется рекомендация других товарищей. Кто рекомендовал вас?

— Никто не рекомендовал. Меня в городе знали и приняли в организацию охотно.

— Почему вы вступили именно в Бейтар?

— Мне понравилась их программа. Я много читал и слушал Зеэва Жаботинского.

— Жаботинского? А, это наш старый знакомый, предводитель еврейских фашистов.

— Неправда. Жаботинский антифашист, он был настоящим либералом.

— Не болтайте чепуху. Нам известно, что Жаботинский был полковником в Интеллидженс сервис.

— Неправда. Жаботинский сформировал во время Первой мировой войны еврейский легион, вступил в него рядовым солдатом и дослужился до звания лейтенанта. Он не был полковником и не служил в британской разведке. Он служил еврейскому народу, и англичане, в отместку за его борьбу против их антиеврейской политики, не пустили его в Эрец Исраэль.

— Ах, какая риторика. Вас, кажется, оскорбила правда о вашем вожде?

— Я не скрываю, что Жаботинский был моим учителем. У него я перенял веру, и память о нем мне очень дорога. Я арестован и должен отвечать на вопросы, но, пока могу, буду защищать честь своего учителя. Будь задета честь Ленина, вы, гражданин следователь, не делали бы то же самое?

На этот раз следователь вышел из себя. Он ударил кулаком по столу и закричал:

— Снова эти дурацкие вопросы? Своего Жаботинского вы сравниваете с Лениным? Не смейте больше повторять это сравнение. Ленин был вождем всех народов и гением человечества, и не смейте упоминать его имя рядом с именем вашего Жаботинского.

— Я не делал никаких сравнений. Просто хотел сказать, гражданин следователь, что, хотя я и арестованный, не надо задевать моих чувств.

— Ваши чувства меня не интересуют, — уже более спокойно сказал следователь. — Меня интересуют ваши ответы. Скажите, где сейчас Жаботинский?

Вопрос меня удивил. Ведь я ясно говорил о памяти Жаботинского. Неужели у капитана не хватило ума понять, что я говорил о человеке, которого нет в живых? Неужели он не знал, что Жаботинский умер? Мой следователь наверняка "специалист" по сионизму, и ему должно было быть известно о смерти Жаботинского. Но вопрос задан, и я должен отвечать:

— Жаботинский умер.
— Вы в этом уверены?
— К сожалению, да.
— Ну, видите, никто его не оплакивает.
— Его многие оплакивают.
— Где умер Жаботинский?
— В Америке.
— Он жил в Америке?
— Нет, он поехал туда в начале войны.
— Для чего поехал?
— Чтобы сформировать еврейскую армию.

— Да? Чтобы помочь империалистическим странам?

— Чтобы бороться против гитлеровской Германии.

— Чепуха, с идеей не борются оружием; только торговцы оружием и другие кровососы заинтересованы в империалистической войне, и Жаботинский был, конечно, их сподручным.

Могло показаться, что следователь цитирует "Правду". Мне не хотелось его озлоблять, но я не мог сдержать своих чувств.

– Гитлеровская Германия не имеет ничего общего с "идеей". Речь идет об убийстве, и в первую очередь – об убийстве евреев.

– Ну-ну, о евреях вы не беспокойтесь. Вы и вам подобные – злейшие враги евреев; вы помогаете империалистам, а не революции. Но сегодня мы говорим не о Германии, а о вас, о вашей деятельности. Не уклоняйтесь от ответов.

Он сказал просто "Германия". Не "гитлеровская", не "нацистская", не фашистская. Германия, просто Германия. "Кровный союз" обязывает офицера НКВД, даже при допросе арестованного.

– Где жил Жаботинский до поездки в Америку? – задал следователь очередной вопрос.

– В последнее время он жил в Лондоне.

– В Лондоне? Ведь вы сказали, что англичане не пустили его в Эрец Исраэль!

– Верно, но в Лондоне ему разрешили поселиться.

Впервые за все время допроса следователь засмеялся – искренне, весело и громко.

– Вы мне рассказываете такие байки! – воскликнул он, справившись с приступом смеха. – И еще хотите, чтобы я вам верил! Англичане не разрешили Жаботинскому жить в Эрец Исраэль, в районе, который находится под их властью, и в то же время разрешили ему жить в самом сердце своей собственной страны?

— Но это факт, — пытался я его убедить. — Вот, например, гражданин следователь, англичане перед самой войной повесили бейтаровца Шломо Бен-Йосефа. Жаботинский был тогда в Лондоне и добивался помилования. Правда, ему это не удалось, и Шломо Бен-Йосеф взошел на эшафот — он шел навстречу смерти с песней, — но факт остается фактом: Жаботинский встретился по этому делу с британским министром по делам колоний.

Я был рад возможности сказать советскому офицеру, что бейтаровцы готовы за свою веру и идеалы рисковать жизнью и даже смерть их не пугает. Но это дало ему повод спросить, за что англичане приговорили Бен-Йосефа к смертной казни. Я рассказал ему об организованных англичанами нападениях арабов на евреев, рассказал о реакции еврейской молодежи на эти погромы, объяснил до мельчайших подробностей дело Шломо Бен-Йосефа. Он слушал внимательно и не прерывал меня. Но резюмировал по-своему:

— Этот Йосеф хотел согнать арабов с их земель, и таким образом помогал британскому империализму.

— Почему же англичане его повесили?

— Вы снова задаете вопросы? Ах, Менахем Вольфович, видно, что вы не умеет правильно мыслить. Вы не в состоянии отличить объективной помощи буржуазии и империализму от субъективной. Вот, к примеру, социал-демократы Второго Интернационала клянутся, что они борются с капитализмом. А что на самом деле? Фактически они изменили рабо-

чему классу. Они превратились в ставленников буржуазии внутри рабочего класса, в самых ярых врагов пролетариата. Ленин и Сталин сорвали с них маску. Мы, коммунисты, сорвем маску со всех прислужников международной буржуазии.

— Но ведь Ленин говорил о необходимости помогать национально-освободительным движениям.

— Вы не являетесь национально-освободительным движением, вы — агентура международной буржуазии и пособники империализма. Жаботинский — полковник Интеллидженс сервис, он был сознательным агентом империализма. А ваш Йосеф — или как его там — был, возможно, прислужником империализма несознательным. Что касается вас, еще посмотрим. Но не рассказывайте больше, что англичане выгнали Жаботинского из Эрец Исразль и разрешили ему жить в Лондоне.

— Но это правда, — сказал я с ноткой отчаяния в голосе.

— Глупости! Мы такую "правду" знаем.

Мие нечего было сказать. Я проиграл. Я говорил правду, которую офицер НКВД никак не мог постичь. Не я стоял против следователя, а один мир противостоял другому миру. Между этими мирами — бездна, и в этой бездне исчезают, обессмысливаясь, факты.

Следователь продолжал спрашивать тем же насмешливым тоном:

— В конце концов, почему вы так уверены в Жаботинском? Может быть, он вас просто обманул.

Думаете, он вам все рассказывал? Кстати, вы хорошо знали Жаботинского?

— Да, думаю, что знал его хорошо.

— Встречались с ним лично?

— Да, в последние годы перед войной встречался с ним.

— Вы приходили к нему, когда хотели?

— Нет, когда он вызывал меня.

— Сколько раз вы лично видели Жаботинского?

— Не могу назвать точную цифру.

— Приблизительно.

— В самом деле, мне трудно сказать. Думаю, что в общей сложности беседовал с ним несколько десятков раз.

— О чем беседовали?

— О разных вещах. О воспитании еврейской молодежи, об организационных делах Бейтара, о положении в Эрец Исразль, о британской политике, об иммиграции молодежи в Эрец Исразль — о разных вещах.

— О Советском Союзе вы говорили?

— Нет.

— Врете!

Это "врете" было произнесено нарочито громко, с яростным блеском глаз, но, в отличие от еврейского чекиста из управления НКВД, следователь при этом не перешел на ты.

— Для чего мне врать? — ответил я. — Разве я скрываю что-то из своей сионистской деятельности? Просто не могу вспомнить, чтобы Жаботинский когда-либо говорил со мной о Советском Союзе.

– Ну-ну, еще вспомните. В камере многое вспомните. Теперь скажите, кто входил в вашу организацию в Польше?

– Были люди из разных слоев населения, в основном молодежь.

– В основном буржуи?

– Нет, в подавляющем большинстве это были трудящиеся, из-за антисемитизма лишенные в Польше какого-либо будущего.

– Значит, вы переманили к себе молодежь из коммунистической партии?

– Не переманили. Они пришли по собственному желанию. Разумеется, вступив в Бейтар, о коммунистической партии они думать уже не могли.

– Вот!! – следователь взмахнул рукой. И в его восклицании мне послышалась радость победы.

Я передал здесь свою первую "беседу" со следователем. Возможно, в этом изложении встречаются слова, сказанные во время последующих ночных допросов. Это не стенограмма. Иногда я говорил пять-десять минут, и следователь слушал меня, не прерывая; иногда он долго и с подчеркнутой гордостью говорил о достижениях Советского Союза. Из тюремного корпуса, в котором находилась моя камера. я вышел, судя по стенным часам, в десять вечера, а когда следователь воскликнул: "Вот!", его большие наручные часы показывали два часа пополуночи. Я поразился: где же допрос? Ведь это скорее спор, а не следствие. Спор между коммунизмом и сионизмом, спор, зачастую бурный, между

двумя мирами, столкнувшимися в маленькой комнатке — рабочем кабинете офицера госбезопасности.

Но вскоре я получил ответ на свои сомнения. Офицер до сих пор ничего не записывал, но в два часа ночи он взял лист бумаги и начал его заполнять мелким почерком. Он писал некоторое время молча, не задавая вопросов. Потом, кончив писать, прочитал написанное, зачеркнул несколько предложений и над ними, между строк, что-то дописал. Затем осторожно, без помарок, переписал все на чистых листах и зачитал мне протокол в виде вопросов и ответов.

— Точно? — спросил он, кончив читать.

Это было более или менее точно. Был вопрос, когда я вступил в Бейтар, и под ним — правильный ответ. Был вопрос о должностях, которые я занимал, и под ним — мой полный ответ. Был также вопрос о числе встреч с Жаботинским, в ответе на который следователь написал "неоднократно".

— Это довольно точно, гражданин следователь, — ответил я на вопрос. — Но жаль, что вы не внесли в протокол несколько вещей, которые я сказал, и я попросил бы их добавить.

— Не буду ничего добавлять, — сердито ответил следователь. — Думаете я внесу в протокол всю чепуху, которую вы здесь рассказали? Я не обязан заполнять эти листы вашей риторикой. Протокол пишу я, а не вы.

— Да, но протокол должен быть полный, — пытался я убедить следователя.

— Ничего не добавлю, — упрямо ответил он. — В суде сможете сказать все, что не вошло в протокол.

— Значит, будет суд? — спросил я с внутренней дрожью и радостью одновременно.

— Конечно, будет суд. Вы находитесь в Советском Союзе, и у нас каждому человеку, даже преступнику, дается возможность защищать себя. Теперь подпишите.

Я еще немного поколебался. "Может быть, мне поможет, — подумал я (святая наивность!), — если он внесет в протокол мой рассказ о социальном происхождении членов Бейтара, о том, что еще подростком мне приходилось давать частные уроки и этим помогать семье?" Но было ясно, что он не добавит ничего к своему короткому переписанному начисто сочинению. Против написанного я не возражал — я мог снова повторить те же слова и подписаться под ними. Слова про предстоящий суд и возможность защищаться мое сознание тоже не отвергло. Поэтому я протянул руку к протоколу, но следователь дал мне вначале первую страницу, исписанную аккуратным почерком, и я поставил подпись в самом ее уголке. Вторая страница была исписана наполовину, и я хотел поставить свою подпись на некотором расстоянии от нижней строки. Следователь заметил, что мне следует подписаться непосредственно под последней строкой, чтобы никто не мог ничего дописать. Какой педантизм!

— Ну, теперь можете вернуться в камеру. Жалобы имеются?

— Нет, у меня нет жалоб, но я прошу вернуть мне две книги, которые у меня отняли здесь в тюрьме вместе с личными вещами.

— Я этим поинтересуюсь, но не знаю, имеете ли вы право читать в камере.

Он повернулся к двери, чтобы позвать конвоира. В этот момент у меня мелькнула идея:

— Гражданин следователь, — обратился я к нему, встав из-за стола, — я бы попросил пригласить завтра переводчика. Я понимаю, правда, все, что вы мне говорите, но не знаю русский настолько хорошо, чтобы точно и полностью выразить свои мысли. Отвечая на вопросы, я часто не нахожу нужных слов.

— По-моему, вы знаете русский достаточно хорошо, и при желании могли бы давать полные и точные ответы. Но ладно, на следующую беседу постараюсь пригласить переводчика.

Он так и сказал: "На беседу".

Я поблагодарил следователя, и меня отвели в камеру.

Дверь камеры отворилась, разбудив моих соседей.

— Все в порядке? — раздался шепот.

— В порядке, в порядке, у нас была "беседа". Я хочу спать.

— Спокойной ночи, завтра поговорим.

Ночи оставалось совсем немного. С первым лучом солнца в воздухе Лукишек пронесся резкий и острый как бритва сигнал: "Подъем!"

6. ПЕРЕВОДЧИК ПОМОГАЕТ

Опять меня разбудили ночью, велели одеться, заложить руки за спину и отвели на допрос.

За столом в знакомой уже комнате сидели на этот раз двое: следователь и человек в гражданском.

– Это наш переводчик, – сказал следователь, когда я уселся возле стола. – Видите, я вашу просьбу выполнил.

Я поблагодарил.

– Сегодня, – начал следователь "беседу", – я хочу узнать о ваших планах, о программе вашей организации, но расскажите все. Можете говорить на своем языке, а переводчик мне все переведет.

Я вздохнул с облегчением. Теперь не придется искать слова или придавать наугад польским словам русское звучание.

– Наша программа, – спокойным голосом сказал я, – до предела проста. У нашего народа нет родины, и мы хотим вернуть ему историческую родину, превратить Эрец Исраэль в еврейское государство и заселить его миллионами евреев, не имеющих никакого будущего в странах рассеяния. Переведите мои слова точно, – обратился я к переводчику. – Мы говорим: "Превратить Эрец Исраэль в еврейское государство". Это очень важное определение, так

как англичане в Декларации Бальфура написали: "Создать национальный очаг в Эрец Исразль" — в Эрец Исраэль, т. е. на территории Эрец Исраэль. Это предложение позволяет им с помощью всевозможных толкований и интерпретаций толкований уклоняться от своих обязательств в отношении еврейского народа. Это прямое надувательство.

Переводчик попросил времени на размышление. С первых же предложений выяснилось, что, хотя русским он владеет лучше меня, работает он очень медленно. Кончив переводить, он неожиданно обратился ко мне по-русски:

— Почему вы говорите о британском надувательстве и молчите о сионистской лжи?

— О какой лжи? — простодушно переспросил я, тоже по-русски.

— Могу я ему ответить? — обратился переводчик к следователю со льстивой улыбкой.

— Конечно, объясните ему, объясните ему, товарищ, какой ложью он занимается всю свою жизнь.

И переводчик прочитал лекцию — не на идиш, а по-русски — о "сионистской лжи":

— Сионизм — и с этой точки зрения нет различий между отдельными его течениями — является одной большой ложью. Сионистские руководители — Герцль, Нордау, Жаботинский, Вейцман и другие — никогда и не думали создать в Эрец Исраэль еврейское государство. Они были достаточно умны, чтобы не верить в возможность создания еврейского государства в Эрец Исраэль. Ведь большая часть населения там — арабы. А что с англичанами? Они да-

дут вам Эрец Исраэль? Как бы не так! Эта территория нужна им для их империалистических планов. Короче, сионистские лидеры прекрасно знали и знают, что провозглашенный ими план невыполним. Свой план создания еврейского государства или национального очага — называйте это как хотите — они выдвинули, чтобы отвлечь еврейскую молодежь от революции. Само собой разумеется, в наше время сионизм является орудием британского империализма, давая англичанам повод к притеснению арабских масс, но в еще большей степени он служит международной буржуазии, буржуазии всего мира, отвлекая своими лживыми лозунгами евреев, прежде всего молодежь, от революционной борьбы. Таким образом, сионизм намеренно ослабляет силы революции. Можно сказать, что сионизм является комедией, хотя результаты его весьма трагичны.

— Точно, точно, — с энтузиазмом вмешался следователь. — Сионизм — это кукольная комедия. Один большой обман.

На минуту я забыл, где нахожусь. Не видел перед глазами форму офицера НКВД, не думал о защите. Только почувствовал боль, глубокую душевную боль, и одно-единственное желание: дать достойный ответ. Сионизм — комедия? Герцль и Жаботинский знали, что создать еврейское государство невозможно, и притворялись, чтобы ввести в заблуждение молодежь? Мне приходилось слышать много коммунистических, бундовских, социалистических теорий о нашем стремлении в Сион, но с такой "тео-

рией" я столкнулся впервые. И ответ переводчику вырвался у меня прямо из сердца:

— По какому праву вы называете сионизм комедией? Ведь вы еврей и, думаю, учили еврейскую историю. Вам, надеюсь, известно, что сионизм в его историческом понимании существовал задолго до коммунизма, социализма и даже буржуазии? Сионизм, правда, в иной форме существовал при феодальном строе и задолго до него, сионизм — не комедия; это, возможно, самое серьезное из национально-освободительных движений за всю историю человечества. Другие порабощенные народы стремились к государственной независимости, для нас же это был вопрос самого существования. Сионизм фактически не создан, он возник сам по себе. Он возник из крови и слез, он возник из страданий, из преследований и безграничной тоски. Эта тоска, тоска по дому, передавалась из поколения в поколение. Она нашла выражение в мессианских движениях. Из-за тоски по Сиону люди покидали богатые дома, спокойную жизнь и отправлялись в пустынную страну. Студенты, врачи, инженеры выполняли любые работы, осушали болота, болели малярией ради Сиона, и во имя его наши праотцы шли на костры. За веру в Сион Шломо Бен-Йосеф отдал жизнь и многие, очень многие готовы пойти по его стопам. Все это можно назвать комедией? Смотрите, я арестован как сионист, член Бейтара, я знаю, что меня ждет горькая судьба, но все же не жалуюсь, готов страдать, потому что это моя вера, и я не единственный еврей, страдающий за свою веру...

Я говорил около десяти минут. Чувствовал, что распаляюсь все больше и больше. В момент особого волнения ударил правым кулаком в левую ладонь Переводчик меня не прерывал.

— Что он говорит? — спросил следователь. — Что он говорит? Это очень интересно.

Переводчик приступил к своей работе. К моему изумлению, он начал с середины, с лжемессий. "Он утверждает, — сказал переводчик, медленно выговаривая слова, — что еще в средние века были среди евреев такие мессии. Это верно, в еврейской истории их называют лжемессиями, которые звали евреев в Эрец Исраэль, но это каждый раз кончалось разочарованием.

— То-то же, — прогремел офицер НКВД. — Он только подтверждает все, что мы говорили. Сионисты обманщики и так называемый сионизм — обыкновенная кукольная комедия.

— Переводчик допустил неточность, — обратился я непосредственно к следователю. — Я упомянул лжемессий для доказательства тоски нашего народа еще в далеком прошлом по своей родине. И я сказал многое другое, чего переводчик не потрудился перевести. Я готов перевести все это сам.

Переводчик покраснел и сказал:

— Я еще не кончил, и я перевожу все точно.

Но следователь повернулся ко мне и почти с упреком сказал:

— Раз так, для чего нужен был переводчик? Говорите!

Я повторил по-русски приблизительно то же, что сказал на идиш. С каждым предложением лицо следователя становилось все более серьезным. Он меня не прерывал, но, когда я кончил, он встал из-за стола, сделал несколько шагов по маленькой комнате и начал мне отвечать, время от времени склоняясь над столом. Его слова лились потоком раскаленной лавы. Иногда казалось, что он забывает о своей роли следователя, как я незадолго до этого забыл о том, что я арестованный, подследственный. Передо мной стоял представитель школы, не допускающей никаких сомнений, отклонений от догматической веры, вооруженный не только наганом, но и методом диалектического анализа.

— А я говорю еще раз, — гремел его голос, — что сионизм — это кукольный театр. Не стоит повторять красивые слова о том, что сионизм возник из страданий и преследований. Его изобрела, да, сионизм изобрела международная буржуазия с одной целью: отвлечь еврейские массы от настоящих, важных дел и занять их второстепенными, смехотворными — несуществующим государством, например. Понимаете, — крикнул он, — не-су-ще-ствую-щим го-су-дарством!! Каким было истинное назначение еврейских масс в Польше или других капиталистических странах? Вы утверждаете, что евреев преследовали. Это верно. Но почему их преследовали? Вашего ума уже недостаточно, чтобы правильно ответить на этот вопрос. Я вам объясню. Евреев в Польше преследовали, потому что польские капиталисты хотели втереть очки польскому пролетариату. Капиталисты

сказали рабочим: "Бейте евреев", рассчитывая, что рабочие забудут о своей ненависти к эксплуататорам. Но припомните, что в капиталистической Польше преследовали не только евреев: преследованиям подвергались также украинцы, белорусы, литовцы. Преследование национальных меньшинств является неотъемлемой частью капиталистического режима. Это орудие в руках эксплуататоров, фабрикантов и помещиков. Только революция способна решить национальный вопрос, положить конец межнациональной вражде и прекратить преследование одного народа другим. Так учили гении человечества Маркс, Энгельс, Ленин и Сталин. И это мы воплотили в жизнь в Советском Союзе. Народы, населяющие Советский Союз, живут в братской дружбе, свободно развивают свой язык и свою культуру по принципу ленинизма-сталинизма: национальная по форме, социалистическая по содержанию. Вам известно, что у нас имеется Еврейская автономная область? Теперь вы видите, как революция решает национальный вопрос и чем вам надо было заниматься в капиталистической Польше? Все вы — поляки, евреи, украинцы и белорусы — должны были совместно бороться за победу революции. Была бы такая революционная сила, в Польше повторились бы события, происшедшие в России под руководством Ленина и Сталина: массы восстали бы против эксплуататоров и свергли бы власть фабрикантов и помещиков. А вы что сделали вместо этого? Дезертировали с фронта революции. Обратились к несуществующему государству, к несуществующему го-

сударству. Но вы не только дезертировали сами — вы организовали бегство, массовое бегство. Разве мог быть больший подарок, лучшая услуга буржуазии? Ведь вы саботировали революцию! Вы тут рассказали, что евреи всегда тосковали по Эрец Исраэль. Предположим, что это верно. Но это же результат определенного воспитания. Сионизм воспользовался этими сантиментами, чтобы облегчить себе выполнение задачи, поставленной перед ним международной буржуазией. Это настоящая диверсия с целью отвлечь силы от революционной армии всего мира и обманным путем использовать их в кукольной комедии. А вы, Бегин, были одним из диверсантов. Вы и вам подобные не только дезертировали сами, но и оргаиизовали бегство. За это вы сидите и за это будете держать ответ!

Следователь распалялся все больше и больше. Он не говорил, он произносил речь. Голос был полон веры и убежденности. Слушая его, можно было представить себе четко организованный единый орган под названием Международная буржуазия, с центральным комитетом или генеральным штабом во главе, отдающим распоряжения всевозможным местным отделениям. Одним из этих отделений является сионизм, которому штаб буржуазии приказывает: "Иди к евреям, используй их тяжелое положение, их сантименты к Палестине, веди их туда. Обмани их, убеди, что там надо и можно создать еврейское государство, и ты выполнишь возложенную на тебя миссию, ослабь врага — революцию, нанеси ей удар по плану, разработанному в штабе..."

Возведенное следователем здание поражало своей логической законченностью — если принять за верную ту отправную точку, с которой он начал класть кирпич на кирпич. Все зависит от маленькой точки, называемой исходной или точкой опоры. Древний философ сказал: "Дайте мне точку опоры, и я сдвину землю". Если примешь основное предположение следователя, сможешь (или будешь вынужден) согласиться со всем остальным; если отвергнешь его — здание, возведенное следователем, рухнет, как карточный домик, и оставит после себя груду лживых измышлений, источник которых — глупость и невежество. Имей я возможность спорить с капитаном НКВД на равных, я мог бы ему сказать, что он идет против логики, объявляя аксиомой положения, требующие доказательства. Однако в комнате дознаний и в условиях, в которых велась "беседа", я не мог сказать следователю, что его логика хромает. Но моя вера выстояла перед его верой; мои аксиомы совершенно отличались от его аксиом. В этой комнате у меня была цель, за которую стоило бороться. Когда следователь закончил свою восторженную речь, я спросил:

— Вы позволите, гражданин следователь, кое-что пояснить?

Вопрос был сформулирован неосторожно, и следователь, упоенный собственным выступлением, сердито ответил:

— Мне нечего объяснять, лучше объясните себе.

— Но позвольте мне все же кое-что добавить, — изменил я формулировку.

— Говорите, сегодня я вам позволю говорить, но прежде выслушайте, что я вам скажу по поводу тех врачей и инженеров, что отправляются обрабатывать землю в Эрец Исраэль. Вы пытались этим доказать, что сионизм не комедия, а серьезное движение. А знаете, что вы доказали? Вы доказали, что ваше движение носит реакционный характер! Что вы делаете? Вы идете вспять; вы закапываете таланты в землю. У нас все работают по специальности. В Советском Союзе врач лечит, а инженер строит. Так и должно быть. Это и есть прогресс. У нас в народе говорят: "Х... не пашут". Поняли, что я имею в виду?

— Нет, не понял, — ответил я. Впервые это грубое слово я слышал не как оскорбительное ругательство, а в "народной поговорке".

— Имеется в виду соха, — поторопился пояснить следователь. — Ею пахали при царе, а теперь в Советском Союзе имеется современная техника, для которой нужны образованные люди. А вы что делаете? Берете образованных людей и предлагаете им копаться в земле! Кстати, ваш сегодняшний рассказ напоминает мне байки одного похожего на вас умника. Это член Ашомер ацаир, и на свободе он был вредителем похуже вас. Он притворялся социалистом и под этой маской прислуживал буржуазии, предавая рабочий класс. Он рассказал, что в Эрец Исраэль у вас имеются колхозы, наподобие советских. Дурень! Кому он рассказывает сказки? Взяли деньги у американских миллионеров и создали колхозы! Нет, Бегин, красноречие вам не поможет. Ваше движе-

ние является реакционным, оно направлено против Советского Союза, против революции, против прогресса.

— Гражданин следователь, — сказал я по-русски, не прибегая к помощи переводчика, — вы упомянули Еврейскую автономную область. Позвольте мне заострить внимание на этом деле, на Биробиджане, так как это очень важно для понимания моей точки зрения. Советское правительство решило выделить территорию для советских евреев. С какой целью оно это сделало? В Советском Союзе евреи пользуются всеми правами, их не преследуют, и можно утверждать, что еврейский вопрос в Советском Союзе решен. Для чего же тогда евреям отдельная территория? Советское правительство несомненно поняло, что евреи находятся в особом положении и его нельзя сравнивать с положением украинцев или белорусов. В любом месте евреи являются меньшинством, а ведь каждому народу нужна своя территория. В этом наверное причина создания Еврейской автономной области. Хотя эксперимент с Биробиджаном и не удался...

— Как вы сказали? — неожиданно перебил меня следователь. — Эксперимент с Биробиджаном не удался?

В пылу спора я допустил неосторожность, но отступать было поздно.

— На территории Биробиджана, — продолжал я, — в настоящее время, насколько мне известно из газет, проживает не более тридцати-сорока тысяч евреев, в то время как в Советском Союзе их около

трех миллионов. В чем причина? По-моему, в том, что Биробиджан никогда не был еврейской территорией, никогда не был нашей родиной, а ведь у каждого народа, тем более древнего, имеется своя родина. Но для меня, гражданин следователь, важно само решение советского правительства предоставить евреям отдельную территорию. В одной из своих последних речей перед войной Зеэв Жаботинский сказал: "Евреи Европы стоят у кратера вулкана, и я готов поддержать все, что может способствовать их спасению. Я не ознакомился в достаточной степени с планом Биробиджана, но, если этот план может спасти евреев, он в моих глазах очень важен. Теперь, гражданин следователь, предположим, что революция побеждает во всем мире...

– Как вы сказали? – прервал меня следователь. – "Предположим, что революция побеждает во всем мире"? Разумеется, она победит во всем мире. И знаете почему?

Я промолчал.

– Потому что так говорили Маркс, Энгельс, Ленин и Сталин, – гремел голос следователя.

...Вспоминая иногда эти слова, я вижу перед собой блестящие глаза молодого капитана и слышу удары его кулаков по письменному столу. Снова появился передо мной – перед арестантом, пытавшимся, невзирая ни на что, понять и разобраться, – "новый мир" во всем ужасе его абсолютной, догматической веры. "Революция победит!" Победит не в силу тех или иных объективных причин, а потому что "так говорили Маркс, Энгельс, Ленин и Сталин"...

Сделав свое замечание, следователь разрешил мне продолжать.

– Итак, революция побеждает во всем мире и создается Всемирный Верховный Совет. Предположим, что к этому Совету обращается делегация еврейского народа с просьбой превратить древнюю родину евреев в их национальную территорию. Верховный Совет наверняка утвердил бы эту просьбу. Ведь и Советский Союз признал необходимость предоставления евреям отдельной территории, а историческая родина еврейского народа – это Эрец Исраэль. Вы сами, гражданин следователь, согласились с тем, что у евреев всегда были сантименты к Эрец Исраэль. Откуда взялись эти сантименты? Дело в том, что в Эрец Исраэль когда-то существовало еврейское государство. Там возникла культура нашего народа, зародился наш язык. Чем же мы согрешили? Желанием вернуть народу его родину? Вот вы и гражданин переводчик сказали, что нет реальных шансов на создание еврейского государства в Эрец Исраэль. Но это вопрос веры. У каждой идеи имеются свои приверженцы и свои скептики. В России разве многие верили в победу революции? Я лично, гражданин следователь, отношусь к тем, кто верит в создание еврейского государства, хотя сам, возможно, этого не увижу.

– Нет, не увидите, – сухо сказал следователь.

Он не ответил на мой теоретический вопрос о решении Всемирного Совета в отношении национальной территории еврейского народа в Эрец Исраэль и упрямо повторил сказанное им раньше:

— Да, революция решит территориальную проблему евреев, а вы ее не решите; вы дезертировали из рядов революции и помогаете ее врагам — международной буржуазии и британскому империализму.

В наш диалог со следователем переводчик пока не вставил ни одного слова. Он принимал участие в споре энергичными кивками головы — в знак согласия с офицером НКВД. Когда говорил я, переводчик молчал, изредка я просил помочь найти подходящее русское слово, он подыскивал слово — не всегда успешно — и снова замолкал. Но на этом этапе "беседы" переводчик что-то шепнул следователю на ухо. Я слов не расслышал, но следователь тут же раскрыл мне секрет:

— Очень интересно, — сказал он и, повернувшись ко мне, добавил. — А вы, разумеется, не сочли нужным мне это рассказать. — Вот товарищ напомнил мне, что ваш Герцель* направил письмо Плеве, тому самому палачу Плеве, и просил помощи царского правительства в осуществлении планов сионистов, обещая при этом, что сионисты не допустят вступления еврейской молодежи в ряды революционеров. Я видел когда-то это письмо, но хорошо, что переводчик вспомнил о нем. Ну, теперь вам ясно, кто создал сионизм? Мы говорим о письменном документе, а ведь народная поговорка гласит: "Что написано пером, не вырубишь топором". Ясно, что Герцль был агентом международной буржуазии. Он сам подтвердил это. Он был подослан буржуазией, чтобы подорвать и ослабить борющийся пролетариат. Ну, что скажете теперь, когда все доказано черным по белому?

* Герцль.

Я мог многое сказать, но это было трудно, так как я говорил со следователем на дурном русском языке.

Переводчик был товарищем следователю, а моим товарищем в комнате дознаний был "серый волк". В душе я ругал себя за просьбу пригласить переводчика. Вот тебе переводчик, еврейский коммунист, возможно, бывший сионист, который читал письмо Герцля царскому министру Плеве и помнит его наизусть!

– Прошу понять, – обратился я к следователю, – что Герцль всем сердцем чувствовал приближение катастрофы, и теперь мы видим, в какой степени он был прав. Он был государственным деятелем, но не имел под собой опоры. Ему хотелось ускорить спасение своего народа, и он искал помощи. То, что сказал переводчик, – вовсе не новость. Герцль действовал в определенную эпоху, он обращался также к турецкому султану, германскому кайзеру и даже к Папе римскому. Он чувствовал, что еврейский народ не может ждать, и такое же чувство было у Жаботинского, у всех нас. Позвольте, гражданин следователь, привести пример. Вы проходите мимо дома, в котором вспыхнул пожар. Что вы делаете? Вызываете, разумеется, пожарных. Но если вы услышали голос женщины или детский плач, разве будете вы ждать пожарную команду? Разумеется, нет: вы броситесь спасать женщину или ребенка. В точности таково же наше положение. Наш дом горит на огне антисемитизма, и пламя уже подкрадывается к нашим братьям и сестрам, к нашим детям. Как могли мы ждать? Революция, положим, была пожарной командой для страдавших от антисемитизма евреев Польши, Германии или любой другой страны,

но мы не могли ждать прибытия этой пожарной команды. Она может прибыть слишком поздно, как это часто бывает с настоящими пожарными командами. Мы обязаны были спасать, и это делал Герцль; это делал Жаботинский, и это делали мы все.

— Это талмудизм, — пробормотал следователь.

"Талмудизм!" — впервые в жизни я слышал это слово. Мой переводчик не был исключением, он не единственный наставник большевиков. Еврейские коммунисты обучали своих русских товарищей, обучали хорошо и помогли им перенять, исказив в насмешливое ругательство, слово, связанное с многовековой мудростью своего народа. Новое слово придумали филологи от НКВД: "талмудизм"!

В ту ночь переводчик "помог" мне еще не один раз. Его помощь заключалась не в переводе, а в выдвижении обвинений, изобретении доказательств. Переводчик был не российским, а местным, вильнюсским коммунистом. В русском языке познания его были ограничены, но зато в сионизме — безграничны. Будь наоборот, он мог бы стать великолепным переводчиком. Здесь же он подкреплял слова "специалиста" НКВД по делам Эрец Исраэль — крупного специалиста, который в ходе следствия на полном серьезе спросил меня, почему мы, польские бейтаровцы, не вступили в народный фронт коммунистической и социалистической партий. Его коллега, тоже энкаведист в чине и тоже "специалист по еврейским делам", спросил арестованного бундовца: "Ведь вы, бундовцы, были вместе с ревизионистами во Втором Интернационале, верно?"

Мой переводчик мог отличить бундовца от ревизиониста, он знал, что ревизионисты никогда не входили ни в какой интернационал, и он знал, что Бунд никогда не был во Втором Интернационале. А чего он не знал? Он помнил наизусть письма Герцля и речи Жаботинского, он знал о встречах Вейцмана с Муссолини, он мог отличить правое крыло от левого в партии Поалей Цион. Он знал все написанное А. Ахимеиром и не сомневался (несмотря на все приведенные мною факты и пояснения) в том, что ревизионисты убили Арлозорова. Он знал, что организацию Бейтар в Польше на протяжении многих лет возглавлял Аарон Пропес; он помнил антикоммунистическую статью Айзека Рембы, сменившего Пропеса на посту руководителя Бейтара,– статью, которую я, к своему стыду, не читал. Сказав об этом следователю, я удостоился презрительного ответа: "И вы хотите, чтобы я вам поверил?" Я и сегодня признаю, что не читал этой статьи, содержание которой мог пересказать переводчик. Мне не повезло: я пригласил ходячую энциклопедию сионизма (или антисионизма) – в лице переводчика, который знал много, включая имена лидеров сионистского движения. В ходе затянувшейся "беседы" в комнате дознаний диалог превратился в дискуссию троих. Говорили все трое по очереди, и переводчик, обращаясь с разрешения следователя непосредственно ко мне, выложил на стол весь свой материал: содержание книг, статей, речей, писем, имена и даты. Следователь, без сомнения, мог получить весь этот материал в еврейском или сионистском отделе НКВД. Теперь мне также известно, что все сказанное в ту ночь вильнюсским евреем-комму-

нистом ни на йоту не повлияло на мою дальнейшую судьбу. И без этого я получил бы свои восемь лет исправительно-трудовых лагерей. Того, что я был руководителем Бейтара в Польше, вполне хватало, чтобы получить срок от Особого совещания. Срок был бы тот же с письмом Герцля Плеве или без него, но ясно, что переводчик вовсе не облегчил моей задачи в "беседе" со стражем революции, решившим – об этом он заявлял каждый раз, – что сионизм – это фарс и обман.

Эта ночь – ночь борьбы за веру в Сион и за достоинство верящих в него – была очень длинной. Бурная беседа закончилась перед самым рассветом. В ту ночь не был составлен протокол. Выйдя из кабинета следователя с руками за спиной, переходя от одних железных ворот к другим, от одного двора к другому, я еще нес в себе отблески пламени, разгоревшегося во время спора в моей душе. Где я только что был? На конференции, которая обсуждала будущее моего народа? Куда я иду? Разве не в гостиницу? Подъем был так велик, иллюзия столь реальна, что, войдя в длинный коридор третьего этажа, где была моя камера, я обратился к дежурному офицеру, приняв его за администратора гостиницы:

– Для меня ничего не прибыло?

Офицер странно посмотрел на меня и выругался:

– Тебе что здесь, гостиница? Ступай в камеру! Если придет посылка, передадим в камеру. Нашелся!

Я все еще шел с "конференции" в "номер". По лестнице поднимался легкими прыжками, пока тюремщики не цыкнули шепотом: "Шшш... как ты ходишь?"

Меня втолкнули в камеру. Дверь закрылась. Соседи, как обычно, спросили:

– Ну, как было? Все в порядке?

– Этой ночью было очень интересно, – сказал я. – Завтра расскажу.

– Завтра? Но ведь уже утро.

В ту ночь, незаметно превратившуюся в день, я так и не заснул.

Лежа на тюфяке с раскрытыми глазами, я прочитал благодарственную молитву. Сигнал подъема заставил меня вскочить.

Назавтра в знакомом кабинете меня встретил только следователь. Не ожидая моего вопроса, он сказал:

– Переводчика я не пригласил и не собираюсь его больше приглашать. Вчера я убедился, что вы прекрасно обходитесь и без переводчика. Он нам не нужен. Будем беседовать наедине.

На этот раз он просил рассказать о "службе британскому империализму". Я объяснил следователю, что мы, ученики Жаботинского, боремся против антиеврейской политики Великобритании, за свободную иммиграцию и массовую колонизацию Эрец Исраэль, но он ухватился за последнюю часть моего рассказа:

– Значит, вы признаете, что выступали за колониальный режим в Эрец Исраэль. Не пытайтесь теперь отрицать, что вы и вам подобные были агентами, и даже сознательными, британского империализма:

– Гражданин следователь, мы не выступали за колониальный режим. Мы требовали колонизации, то есть освоения Эрец Исраэль, а это далеко не то же самое.

– Какая разница? Хотите повлиять игрой слов?

— Нет, это не игра слов. Колониальный режим означает порабощение одного народа другим, а мы возвращаемся на свою родину. Колониальный режим не заинтересован в освоении пустынных земель и препятствует развитию промышленности, а первым условием успешной колонизации является проведение аграрной реформы и развитие промышленности, чтобы в стране могли поселиться массы репатриантов. Англичане заинтересованы в сохранении колониального режима, а колонизацию мы можем проводить, только борясь против колониального режима.

— Талмудизм и начетничество! Колониальный режим и колонизация — это одно и то же. Вы просто-напросто хотите согнать арабских крестьян с их земель. Знаете, что это такое? Это захват, это грабеж. Политика Советского Союза была всегда направлена против захвата чужих земель. Сразу после Октябрьской революции мы освободили порабощенные царским режимом народы, и вот теперь, как вы видите, мы вернули литовцам Вильнюс. Сионизм же означает захват чужой земли в полном смысле этого слова.

— Мы не собираемся отнимать земли у арабских крестьян. В Эрец Исраэль имеются большие земельные владения — и их надо поделить между арабскими и еврейскими крестьянами. Восточную часть Эрец Исраэль во времена Римской империи называли Palaestina Salutaris, так как она была житницей Римской империи. Сейчас там проживают триста тысяч бедуинов. В древние времена Эрец Исраэль населяли от семи до восьми миллионов человек. Как сказал Жаботинский англичанам, в Эрец Исраэль достаточно места и

для миллионов арабов, и для миллионов евреев, и для мира.

– Все, что вы сказали – это ...., – он применил выражение, первая часть которого явно связана с "физиологией".

Я поразился. До сих пор он вел себя довольно пристойно. По сравнению с другими следователями он был просто аристократом.

"Пережитки прошлого" заставили меня спросить:

– Почему это ...? – я повторил то же выражение.

На мгновение он вышел из себя, схватил (но не поднял) графин с водой и сказал с легкой угрозой в голосе:

– Поспокойнее, а то и графином можно получить.

Я промолчал.

Следователь отодвинул графин и вернулся к прежней теме:

– А я утверждаю, что вы мне здесь чепуху рассказываете. С какой стати вы заговорили о земельных владениях? Мы должны говорить о сегодняшнем дне. Вчера говорили про средние века и ваших лжемессий, а сегодня поминаем Римскую империю. Оставьте историю, говорите по существу. Разве не ясно, что, посылая людей в Эрец Исраэль и требуя арабских земель, вы даете повод британскому империализму под предлогом защиты евреев тиранить арабских тружеников – рабочих и крестьян? Вы не только здесь помогали международной буржуазии; там, в вашей химерической стране вы тоже были агентами британского империализма, настоящими агентами.

Это он говорил уже не один раз. Повторение является одним из прав следователя. А может быть, одной из его обязанностей? Может быть, это такой метод воздействия на подследственного?

На этот раз мой ответ состоял в основном из вопросов:

— Если мы агенты Британии, почему англичане не пускают нас в Эрец Исраэль? Почему они нас преследуют? Почему в последней Белой книге они заявили, что через несколько лет не пустят ни одного еврея в Эрец Исраэль? Если бы мы действительно служили интересам англичан, то по логике вещей они помогали бы нам, а не мешали. Но факт остается фактом: они мешают нам на каждом шагу. Факт остается фактом: перед началом войны нам пришлось прорвать британскую блокаду и, подобно Гарибальди, высадить людей на берег Эрец Исраэль.

— Ну-ну, не сравнивайте себя с Гарибальди. Знаете, кем был Гарибальди? Это настоящий борец за свободу, его движение было прогрессивное, а ваше — насквозь реакционное.

Впервые мне стало известно, что в советских политшколах восхваляют деятельность Гарибальди. Оказывается, Гарибальди был носителем прогресса, а не ставленником международной буржуазии, диверсантом, которому поручили привлечь внимание итальянских рабочих к несуществующей стране — объединенной и независимой Италии. Повезло человеку! Гарибальди жил в 19-м веке и успел умереть до НКВД, иначе...

Неожиданно следователь сменил пластинку:

– Определите точно, настаиваю на точности, какова была ваша роль в организации?

Он уже задавал этот вопрос и получил подробный ответ. Теперь: "Определите мне точно".

На этот раз я воспользовался польским названием своей должности, вставив его в русское предложение:

– Я был комендантом Бейтара в Польше.

– Кем? Комендантом? – сердито и удивленно переспросил следователь. – Ведь вы говорили, что руководили всей деятельностью организации, то есть были кем-то вроде генерального секретаря, а теперь утверждаете, что были комендантом.

Я ничего не понял. Не понял ни его неожиданного недовольства, ни удивления, ни последнего вопроса. Разве это не талмудизм?

– Я, гражданин следователь, не отказываюсь от своих прежних показаний. Я говорил раньше и говорю теперь, что отвечал за деятельность Бейтара в Польше, был комендантом организации, председателем движения во всей стране.

– Так и говорите, – облегченно вздохнул следователь. – Вы были председателем организации, генеральным секретарем, но не комендантом!

Снова я ничего не понял.

Только спустя много дней, лежа на жестких нарах одного из бараков Печорлага на зеленом берегу Печоры, я задумался над словами следователя и понял, в чем было дело. В Советском Союзе комендант – это административно-хозяйственная должность. Следователь, видимо, испугался, что я пытаюсь

уйти от ответственности, выдавая себя за ответственного по уборке помещений организации Бейтар.

В третью ночь беседа не затянулась, как это было в присутствии переводчика. Покончив с "комендантом", следователь со свойственной ему аккуратностью разгладил лежавшие перед ним листы бумаги и принялся записывать. Я снова превратился в пассивного наблюдателя.

Через некоторое время следователь оторвался от бумаг и сказал:

— Я пишу "колонизация земель", но знайте, что "колониализм" и "колонизация" — это одно и то же.

Пусть так.

Кончив писать, следователь зачитал мне вопросы и ответы. Я слушал очень внимательно и, к своему изумлению, обнаружил, что один из пунктов нашей программы звучит приблизительно так: "Попытка Советского Союза заселить Биробиджан не удалась. В этой автономной области проживает от тридцати до сорока тысяч человек. Этот эксперимент не может быть успешным, так как Биробиджан не является родиной для евреев".

— В программе нашего движения такого пункта не было, гражданин следователь, — сказал я ему.

— Как это не было? Вы же сами это сказали? Переводчик тоже слышал.

— Верно, но это мысль, которую я высказал в споре. Вам, гражданин следователь, конечно, знакомо выражение: Gedanken sind zollfrei.

— Это по-немецки, перевода я не знаю.

– "За мысли не платят", – сделал я вольный перевод, не найдя в своем словарном запасе подходящего русского слова.

– У нас, – тихо, но отчетливо сказал офицер НКВД, – за мысли платят, если они контрреволюционные, и мы эти мысли знаем.

Я не мог, разумеется, отрицать сказанного. Правда, я сказал это в ходе спора, но сказал. Даже в душе не мог я обвинить следователя в фальсификации.

Особое совещание НКВД в любом случае дало бы мне тот же срок – с Биробиджаном или без него. Но в эту ночь я тоже многому научился: "беседа" – это не беседа. "Беседа" – пусть она ведется в самых вежливых тонах – это всегда допрос. А "у нас – и за мысли платят"...

7. НОЧНЫЕ ДОПРОСЫ ПРОДОЛЖАЮТСЯ

Ночные допросы продолжались. Иногда с перерывами. иногда один за другим, беспрерывно.

Однажды мне пришла в голову мысль, которую я высказал вслух.

— Гражданин следователь, — сказал я, — до ареста я читал Советскую Конституцию, и, если не ошибаюсь, есть в ней параграф, гарантирующий защиту иностранным гражданам, подвергшимся преследованиям за национально-освободительную борьбу. Думаю, я отношусь к этой категории лиц. Всю свою жизнь я посвятил национальному освобождению своего народа и в Вильнюс прибыл из-за преследований нацистов — врагов еврейского народа. Если бы я остался в Варшаве, немцы, без сомнения, казнили бы меня одним из первых. По Конституции я в Советском Союзе должен получить убежище, а не сидеть в тюрьме.

Следователь до сих пор вел себя тихо, спокойно и вежливо, но тут лицо его — от моей наглой декларации — пошло пятнами. Он буквально вышел из себя. Никогда я не видел его таким сердитым. Последние остатки вежливости испарились. Он грохнул кулаком по столу и заорал:

— Что, Сталинскую Конституцию вы мне цитируете? А знаете, как вы себя ведете? Вы себя ведете, как тот международный шпион, бешеный пес и враг человечества — Бухарин! Да-да, вы делаете буквально то же, что делал Бухарин. Он находил какое-нибудь место в сочинениях Маркса и говорил: "Видите, я был прав. Так писал Маркс". Но Сталин учит, что нельзя опираться на вырванные из контекста фразы. Иначе вместо доказательств получается большое надувательство. Да, имеется в Конституции такой параграф, но имеется и много других, и все их надо видеть в целом. Слышите? — продолжал греметь сердитый голос следователя. — Умник нашелся, цитирует Конституцию и этим хочет убедить меня. — Следует ругательство. — Вот!

Я поразился его бурной реакции. Никак не мог понять, почему следователя вывел из себя именно этот наивный, пожалуй, даже слишком наивный, вопрос. Не мог он, что ли, ответить спокойно: "Этот параграф на вас не распространяется". Но он не только кричал и стучал кулаком по столу, подвергая опасности графин; в ту ночь следователь впервые выругался матом, и это сразу уменьшило в моих глазах значение поднятого вопроса о параграфе Конституции. Я сказал следователю, что процитировал не обрывочное предложение, а целый параграф, который может быть рассмотрен отдельно от других параграфов. По существу вопроса я спорить больше не стал. Чем мог этот спор помочь мне? Но с грубыми ругательствами я решил не мириться и сказал следователю:

— Еще я читал, гражданин следователь, что советский закон запрещает употребление ругательных слов, и попрошу в разговоре со мной их больше не применять. Я арестованный, моя судьба в ваших руках, но оскорблять меня вы не должны.

— Не будьте таким гордым, — почти слово в слово повторил следователь ответ своего коллеги из управления НКВД на просьбу не тыкать, но до конца следствия он так и не матерился больше. Взрывов негодования было еще немало, но при всей их грубости они не сопровождались ругательствами. Иногда "пережитки прошлого" помогают.

В одну из ночей я задал следователю другую задачу — тоже наивную, тоже юридическую и тоже из чисто спортивного интереса.

— Гражданин следователь, — сказал я, — вот вы утверждаете, что моя сионистская деятельность в Польше была преступной с точки зрения советского закона и поэтому я предстану перед судом. В настоящий момент не буду говорить о существе проблемы, так как это вопрос веры и я верю, что действовал на благо своего народа. Мне хотелось бы затронуть юридическую сторону проблемы. Вы тоже юрист и, уверен, поймете меня. Я действовал в Польше, и там моя деятельность была абсолютно легальной. Ни один из законов страны не запрещал нашей официально признанной деятельности. Теперь я нахожусь в Советском Союзе, и на меня распространяются законы этой страны, но как они могут быть применены ретроактивно к действиям, совершенным в прошлом? В юриспруденции существует важ-

ное правило: не подлежит наказанию человек за действия, совершенные на территории, где в момент их совершения они не считались незаконными. Можно предположить, что это правило признается и советской юриспруденцией. Как же можно привлечь меня к ответственности за действия, совершенные в прошлом?

На этот раз вопрос не рассердил следователя. Напротив, у него даже улучшилось настроение. Он улыбнулся и сказал:

– Ваша юриспруденция может только рассмешить нас. Известно вам, Менахем Вольфович, по какой статье Уголовного кодекса вы обвиняетесь?

– Нет, не известно.

– Вы обвиняетесь по 58 статье Уголовного кодекса Российской Советской Социалистической Республики. Знаете, о чем говорится в этой статье? Знаете, кто ее сформулировал?

– Нет, не знаю.

– А стоило бы. В 58 статье говорится о контрреволюционной деятельности, измене и диверсии, и сформулировал ее сам Владимир Ильич Ленин.

– Но как может эта статья распространяться на действия, совершенные в Польше?

– Ну и чудак же вы, Менахем Вольфович! 58 статья распространяется на всех людей во всем мире, слышите? – в о в с е м м и р е. Весь вопрос в том, когда человек попадет к нам или когда мы доберемся до него.

Хотя я уже попал к ним и они добрались до меня и уже применили – не в теории, а на практике –

58 статью, слова следователя заставили меня содрогнуться. Много дней не выходил у меня из головы этот чистосердечный, поразительный ответ, переворачивающий вверх дном все понятия цивилизованного человека о правосудии. Значит, существует в мире страна, Уголовный кодекс и прежде всего статья о контрреволюционной деятельности которой распространяется на каждого из двух с половиной миллиардов жителей земного шара! А кто не занимается контрреволюционной деятельностью? Может быть, коммунисты, труженики, которые с риском для жизни борются за революцию? В Лукишках и в концлагерях я встречал польских коммунистов, которые боролись в подполье, которых из года в год в канун Первого мая брали под арест, которые много лет провели в тюрьмах, – и вот пришел день, когда к ним была применена 58 статья. Они защищались: "Во имя коммунизма, во имя победы революции я сидел в тюрьме капиталистической Польши, вы можете это проверить, я могу привести свидетелей, как же вы обвиняете меня в контрреволюции?" Следователи смеялись: "В тюрьме ты сидел, предатель? Скажи, сколько времени сидел?" "Три года, пять лет, семь лет", – отвечали несчастные. "А что случилось после этого?" – продолжали следователи выпытывать у коммунистов-"контрреволюционеров". Те отвечали с поразительной наивностью: "После этого я продолжал на свободе бороться за революцию". "Значит, – кричали следователи, – тебя освободили из тюрьмы?" – "Да, по окончании срока, в соответствии с приговором, меня выпус-

тили из тюрьмы". – "Ну и лгун же ты. Был верным коммунистом, а капиталистическая полиция выпустила тебя из тюрьмы? Кому сказки рассказываешь? Кого хочешь с толку сбить своими "сроками"? Будь ты настоящим коммунистом, тебя после нескольких лет не выпустили бы из тюрьмы. Тебя освободили за обещание выдать польской тайной полиции преданных коммунистов! Думаешь, мы этого не знаем? Теперь рассказывай правду, рассказывай все!"

Та же участь ожидала защитников коммунистов – многие адвокаты, зачастую с мировым именем, защищавшие коммунистов в судах Польши и Литвы, были при советской власти привлечены к ответственности по 58 статье. Адвокаты защищались: "Как можно обвинять нас в контрреволюции? Ведь все свое время и энергию мы отдавали защите коммунистов от капиталистического полицейского режима". Следователи НКВД смеялись: "Коммунистов защищали? Кому байки рассказываете? Кто разрешил бы вам защищать коммунистов в капиталистическом суде, если бы вы не сотрудничали с тайной полицией? Ваше выступление в суде неопровержимо доказывает, что вы были агентами тайной полиции и выдавали ей преданных коммунистов".

Несчастным нечего было возразить.

Но самое жуткое во всей этой истории с коммунистами и их защитниками, попавшими в руки НКВД, не в обвинениях, а в том, что следователи в данном случае не лгали себе. Они были уверены, что у них верные доказательства, не предположения, а неопро-

вержимые факты. Снова один мир противостоял другому, и в бездну между мирами снова низвергались факты и правда. В мире НКВД, как правило, политического преступника, который "хуже убийцы десяти человек", по истечении срока заключения не освобождают. В этом мире нет адвоката, не связанного с преследователями и обвинителями своего подзащитного. Как же может поверить воспитанник, выкормыш НКВД, что в другом мире, да еще в мире "гнета и притеснения", срок заключения кончается и заключенный, политический или уголовный, выходит на свободу? Как может он поверить, что там защитник, отстаивая своего клиента, выступает против тайной полиции, против ее порочных методов, против прокурора, против правительства?

Два мира, разделенных глубочайшей пропастью, бездной, над которой носится дух 58 статьи Уголовного кодекса СССР, страны, призывающей: "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!"

Однажды на допросе следователь спросил:

– Какие связи были у вас с польской тайной полицией?

Я ответил мгновенно и инстинктивно:

– Я отвергаю этот вопрос, гражданин следователь.

– Как это вы отвергаете вопрос? – спросил следователь. – Вы обязаны отвечать на любой мой вопрос.

– Можете записать в протоколе, гражданин следователь, что я отказался отвечать и объясню свое поведение в суде.

— Вы не имеете никакого права отказываться отвечать на вопросы. Кстати, это же очень простой вопрос: "Какие связи были у вас с польской тайной полицией?"

— Это оскорбительный вопрос, гражданин следователь. Я уже сказал, что ради своей веры готов принять любые муки, но оскорбления, пока это в моих силах, не потерплю. Я трудился на благо своего народа и не имел ничего общего ни с какой тайной полицией. Я сидел в польской тюрьме, и однажды начальник полиции даже грозил отправить меня в концлагерь Береза-Картуски, если не прекратятся демонстрации против британской политики. И после всего этого меня просят рассказать о моих связях с польской полицией?

Следователь рассмеялся:

— Видите, у вас была связь с польской тайной полицией. Вы сами только что сказали, что с вами беседовал начальник варшавской полиции.

— Раз так, гражданин следователь, напишите, пожалуйста, в ответе: "Начальник варшавской полиции вызвал меня в 1939 году и грозил отправить в концлагерь Береза-Картуски".

Следователя не покидало приподнятое настроение.

— Странный вы человек, Менахем Вольфович, ударились в свое геройство. Я не откажусь от своего вопроса, а вы обязаны мне ответить. Я напишу в ответе: "У меня не было связи с польской тайной полицией", но не думайте, что суд вам поверит.

Ладно.

На одном из допросов следователь предложил мне вопрос в утвердительной форме:

— Мне ясно, что вы остались здесь по поручению своей организации для проведения контрреволюционной деятельности.

— Несколько дней назад я рассказал вам, гражданин следователь, что из Каунаса пришли на мое имя и имя жены laisser-passer и визы в Эрец Исраэль. Мы собирались туда, и этому помешал только мой арест. Эти факты можно в любую минуту проверить, и они ясно доказывают, что никто меня здесь не оставлял и я не собирался здесь оставаться. Мои намерения были совсем иные.

— Значит, вы планировали бегство из Советского Союза, — отчетливо выдавил каждое слово следователь. — Бегство из Советского Союза — это очень серьезное преступление, и вы понесете заслуженное наказание.

Когда я рассказал об этом диалоге соседям по камере, мы трое покатились со смеху. Смех был такой громкий, что разбудил охранника за железной дверью.

Охранник со стуком открыл окошко и громко крикнул:

— Вижу, вам здесь очень весело. Хотите, добавлю кое-что к вашему веселью?

Мы замолчали. Когда окошко закрылось, бывший офицер сказал:

— Он тоже прав. НКВД всегда прав. Остался в Советском Союзе — совершил преступление; хотел

уехать из Советского Союза — совершил преступление. Тот не преступник, кто на свет не родился!

После одного допроса, когда был уже подписан протокол, следователь сказал мне:

— Завтра вы встретитесь с близким вам человеком. Будет очная ставка.

— С кем? — поспешно спросил я.

— Увидите завтра. Привыкайте не задавать лишних вопросов.

В эту ночь не спалось, и днем я не находил себе места. Капрал с обычным усердием готовил уроки, я только задал ему несколько вопросов, но ответы выслушал невнимательно. Он и бывший офицер поняли меня и оставили наедине с моими мыслями и переживаниями.

С кем мне хотят устроить очную ставку? Почему следователь не сказал, кто этот "близкий человек", с которым я встречусь? Может быть, они арестовали... мою жену? От этой мысли я не мог уже избавиться. "Нет, не может быть, — говорил я себе, шагая от окна к двери. — Наверняка это так, — шептало сердце на обратном пути, от двери к окну. — Нужно свыкнуться с этой мыслью, что делать? Мы не единственные, чья жизнь разрушена мировой бурей, — успокаивал я себя. — Но почему? Почему? Почему она должна страдать из-за меня? Ладно, я — другое дело: я всегда искренне призывал к самопожертвованию и теперь, столкнувшись со страданиями и муками, жаловаться не стану. Но почему и она должна оказаться в этой дыре, почему? И как

она будет здесь жить? Как будет жить в тюрьме со своей болезнью, без лекарств? – снова накатывалась волна страха. – А может быть, она все же не арестована и находится среди друзей? – возвращалась мысль к исходной точке. – Боже милостивый, почему так тянется день? Когда начнется очная ставка? Когда я все узнаю?"

Взволнованная память воскрешает те далекие дни – дни радости и надежды. Вспоминается день, когда я впервые увидел семнадцатилетнюю девушку и сердце сказало: "Это твоя будущая жена". Назавтра я покинул город, в котором встретил ее, в котором должен был учиться, и написал девушке письмо, всего одну строку: "Я видел вас один раз, но мне кажется, что знал вас всю жизнь". А потом – потом я сказал ей, что жизнь будет нелегкая, что денег всегда будет недоставать, что несчастья будут в избытке, и тюрьма тоже будет, потому что надо бороться за Эрец Исраэль. Она ответила, что не боится трудностей.

А потом я ждал ее на железнодорожной станции; она пришла из дому, а я, как обычно, – с публичной лекции. Отвез ее к себе. Отец и мать ее полюбили, а я назавтра же уехал – читать очередную лекцию. А потом пришло письмо от Учителя, от руководителя Бейтара: "Желаю вам всего, что пожелал бы своему сыну. В моей жизни было много плохих дней, но было и много хороших. Теперь я постарел и знаю, что лучшим был день, когда я надел кольцо на палец девушки..."

А потом свадьба. Старики счастливы, друзья искренне радуются, среди них – Зеэв Жаботинский. А потом – ни одного месяца, ни одной недели, ни одного дня покоя. Назавтра же – в Варшаву, организовать массовую эмиграцию, эмиграцию без сертификатов. И снова она одна, но не жалуется. Ведь я свое обещание, что будут трудности, выполнял, а она тоже выполняла свое обещание – не бояться трудностей, не опускать рук. А потом все рухнуло. Вспыхнула война. Нам пришлось покинуть Варшаву. Начались странствия с рюкзаками за спиной, под градом бомб. Все она выдержала, но в момент передышки, в одном из местечек южной Польши, тяжело заболела. Я отвез ее к родителям, хотел оставить на некоторое время, но никакие увещевания не помогли: "Куда ты, туда и я". И снова в путь. Мы собирались выехать в Эрец Исраэль до закрытия "балтийского коридора", но сертификаты пришлось отдать товарищу, и она не жаловалась. "Ничего, – сказала она, – поедем в следующий раз". А потом надежда на выезд стала на глазах таять; все реальнее становился "шанс" попасть в тюрьму и расстаться на неопределенный срок. "Раз так, – говорил я в дни ожидания, – выполню свое обещание до конца: будет тюрьма". (Я думал о тюрьме другой, в Эрец Исраэль, но Лукишки – тоже тюрьма.) И снова она не жаловалась, не уговаривала меня скрыться или бежать.

Все эти картины то появлялись, то исчезали. Душа радовалась им, но страх не уходил: "Арестовали или оставили в покое? А может быть, – глухо сменял один вопрос другой, – может быть, это очная

ставка с арестованным товарищем? Кого, черт побери, имел следователь в виду, говоря, что завтра встречусь с близким мне человеком?"

День прошел. Нам дали "ужин". Сокамерники потребовали, чтобы я съел свою порцию, так как для предстоящей ночи требуются силы. Я ждал сигнала отбоя и с еще бо́льшим нетерпением – вопроса: "Кто здесь на "Б"?" Услышав наконец долгожданный вопрос, я оделся со скоростью пожарного. Если бы можно было бежать в кабинет следователя! Но бежать нельзя: надо идти размеренным шагом, не слишком медленно и не слишком быстро. Не встретить бы в пути других заключенных и не потерять время на "поверни вправо" или "поверни влево". В эту ночь коридоры были свободны, и время ушло только на ходьбу. В комнате оказался только следователь.

– Садитесь, – сказал он.

Вспомнив его вчерашнее замечание, я не стал задавать вопросов.

– Вы, по-видимому, хотите знать, с кем встретитесь сегодня вечером, верно?

– Конечно хочу знать, гражданин следователь.

– Так подождите немного. Сейчас узнаете.

Черт...

Но ждать долго не пришлось. Дверь открылась, и в сопровождении другого следователя, тоже капитана НКВД, в комнату вошел доктор Яаков Шехтер.

Доктор Шехтер, один из руководителей краковских сионистов, известный оратор, был арестован в Вильнюсе за несколько недель до того, как я не

откликнулся на "приглашение" Вильнюсского горсовета. До него один за другим были арестованы инженер Шескин и Давид Кароль, руководители Брит ахаял – крупнейшей организации ветеранов войны, пошедшей за Зеэвом Жаботинским. Позднее выяснилось, что после меня в Вильнюсе не был арестован ни один из видных деятелей движения и в конце концов всем им удалось совершенно законным путем – через Москву и Одессу – выехать в Эрец Исраэль. Надо полагать, что немалое значение имела здесь игра случая. Еще до моего ареста отца Давида Ютина вызвали в НКВД и сказали, что сын должен все время быть дома – за ним придут. Давид Ютин действительно прождал несколько дней, но за ним так и не пришли...

Очная ставка удивила доктора Шехтера еще больше, чем меня. Мне не известно было, для чего нас свели, но я знал, что он арестован; доктор Шехтер же ничего не знал о моем аресте, и вот я предстал перед ним во всем великолепии узника НКВД.

Следователи провели очную ставку, соблюдая все формальности. Они предупредили, что мы не имеем права разговаривать друг с другом и должны только отвечать на задаваемые вопросы. Но, несмотря на всю "церемонность", эта встреча между двумя арестованными представляла для НКВД незначительную ценность.

Следователи спросили каждого из нас по очереди, кто несет ответственность за визы, полученные до и после "революции" в Литве. После прихода советской власти визы для членов нашего движе-

ния поступали с ее ведома и согласия. Получение визы было абсолютно законно – пока ты на свободе. Если же ты арестован, виза – доказательство преступления: пытался бежать из Советского Союза и подбивал других...

На вопросы следователя я ответил, что визы из консульства в Каунасе (существовавшего некоторое время и при советской власти) поступали на мое имя, так как я в прошлом занимал пост руководителя Бейтара. Д-р Шехтер заявил, что визами занимался он. Оба мы повторили свои показания, их по всем правилам внесли в протокол, и очная ставка кончилась.

Для чего провели очную ставку, мне и до сегодняшнего дня не понятно. Неужели они думали, что мы будем валить друг на друга вину за "преступление" – страшное в глазах НКВД, похвальное в наших глазах – и товарищи-следователи смогут насладиться унижением арестованных?

Если они на это рассчитывали, их ждало разочарование. Но, возможно, проведение этой очной ставки было выполнением одного из канонов НКВД. Очная ставка является частью их метода. Иногда она приносит им пользу: один заключенный дает показания против другого. В таком случае радуется сердце следователя.

Кончилась встреча с Шехтером. Мы расстались взглядами: еще встретимся... еще взойдет солнце...

8. ПРИЗНАЮ ИЛИ ПРИЗНАЮСЬ?

Как-то вечером меня вызвали на допрос необычно рано – я не успел даже прилечь. Оказалось, что это последний вызов к следователю.

– Сегодня вечером, – сказал он, – заканчивается следствие. Нам остается только подписать заключительный протокол.

– А когда будет суд, гражданин следователь? – спросил я его.

На этот раз он не попрекнул лишним вопросом и ответил вежливо, с пониманием:

– Это не зависит от меня. Мое дело – следствие. Дату суда установят другие. – Говоря это, он принялся что-то писать и тут же зачитал кратко сформулированную запись:

"Признаю себя виновным в том, что был председателем организации Бейтар в Польше, отвечал за деятельность организации и призывал еврейскую молодежь вступать в ряды Бейтара".

– Подпишите, пожалуйста, – вежливо сказал следователь, – и сможете вернуться в камеру. На этом следствие кончается.

– Гражданин следователь, – сказал я, – вы все очень точно сформулировали, и я это, разумеется, подпишу, но прошу внести в текст одно изменение.

— Какое изменение? Снова изменение? Ведь все так просто.

— Это верно, и изменение касается только первого предложения. Вместо "признаю себя виновным в том, что был", я прошу написать "признаю, что был". Все остальное в полном порядке, и я готов это подписать.

Впервые следователь не был в состоянии меня понять:

— Как это не писать "признаю себя виновным"? Ведь вы сами признали, что возглавляли ваше движение, что отвечали за его деятельность, что часто ездили по городам Польши и призывали еврейскую молодежь вступить в организацию. А что я написал? То, что вы сказали. Так с какой стати вносить изменения и переписывать все заново?

— Гражданин следователь, — пытался я ему втолковать, — у меня нет никаких претензий к содержанию протокола. Я говорил, что возглавлял Бейтар в Польше и готов теперь сказать то же самое. Но я не могу подписаться под словами "признаю себя виновным". Мне ясно, что вы считаете это ужасной виной, но я в этом никакой вины не вижу. Напротив, я считаю, что выполнял свой долг, в этом был смысл моей жизни, и я попытаюсь все это объяснить на суде.

Следователь снова не понял. Судя по его поведению, он не притворялся и действительно не был в состоянии переварить мою новую "талмудическую" причуду.

"Я признаю себя виновным в том, что был..." – это обычная формулировка заключительного протокола; с какой же стати я требую изменений?

– Скажите, – беззлобно спросил следователь, – вы были председателем Бейтара в Польше или не были?

– Был.

– Что же вы теперь мне голову морочите? Был – значит, виновен!

– Нет, гражданин следователь, не виновен. И в этом вся разница между нами. Вы считаете преступлением мою деятельность в качестве сиониста, бейтаровца, а я считаю, что служил своему народу. Я понимаю, что суд будет судить меня по советским законам и, возможно, с моим мнением не посчитается. Но вы хотите, чтобы я сам написал "признаю себя виновным". Этого я сделать не могу, так как я не считаю себя виновным.

Следователь начал сердиться:

– Ну и не подписывайте! Думаете, нужна мне ваша подпись? Я могу передать протокол прокурору и без вашей подписи.

Я промолчал.

Следователь изменил тон:

– Но я всегда так формулирую протокол. Почему вы не подписываете? Ведь я написал то, что вы мне говорили, почему же вы не подписываете?

Я повторил свои аргументы.

Он стоял на своем.

Напрасно искал я в своем скудном словаре другие слова, чтобы понятнее объяснить сказанное.

Тогда он начал угрожать.

Я весь внутренне сжался. "Это испытание, – сказал я себе. – Возможно, решающее испытание. Если не настою на своем, не будет смысла в моей жизни. "Я признаю себя виновным в том, что был руководителем Бейтара"? – Нет, ни в коем случае. Пусть делает что хочет, я не подпишу. Боже, не оставляй меня...".

Молитва вырвалась из сердца, но я не почувствовал, что и губы нашептывают слова.

– Что вы сказали? – крикнул следователь.

– Ничего не сказал, гражданин следователь.

– Как это не сказал? Вы что, в лицо врать мне надумали? Я ясно слышал, что вы говорили!

– Я ничего не сказал; просто разговаривал сам с собой.

Следователь громко рассмеялся.

– Посмотрите на него! – смеялся следователь – Он уже сам с собой разговаривает. Юрист разговаривает сам с собой – видали? Не говорите сами с собой, – обратился он ко мне. – Лучше послушайте, что я вам скажу. А я вам скажу, что вы должны подписать протокол. Иначе будет плохо.

Смех следователя меня глубоко задел, но я не реагировал. Я был даже доволен улучшением атмосферы.

– Гражданин следователь, – сказал я, -- прошу понять, что я не могу подписаться под словом "виновен". Ведь в конце концов я прошу только изменить два слова в тексте. Для меня это очень важно, но какое это имеет значение для следователя? Ведь

в любом случае материал будет передан в суд и судьи установят, виновен я или нет.

– Вы меня не учите, что важно и что не важно для следствия. Я снова советую вам по-хорошему: подпишите, и идите себе в камеру.

– Не могу, гражданин следователь, и думаю, что, подписав, я многое потерял бы и в ваших глазах. Ведь вы тоже идеалист...

– Я не "идеалист", – издевательски прервал меня следователь. – Я коммунист, и для меня главным является исторический материализм.

– Нет, нет, – поторопился я устранить недоразумение, – я имел в виду не философскую проблему материализма и идеализма, а хотел сказать, что вам несомненно близко понятие идеала, большой цели. За свои идеалы вы ведь и жизнь готовы отдать...

– Конечно, если потребуется, я готов в любую минуту отдать жизнь за победу революции, за советскую родину.

– Я тоже готов.

– На что вы готовы?

– Отдать жизнь за свои идеалы.

– Какие у вас идеалы? Кукольная комедия – это идеал? За то, что вы называете идеалом, не стоит даже волос отдать, не то что жизнь. Да и кому нужна ваша жизнь? Вы человек молодой, образованный. Вы говорили, что хотите служить своему народу. До сих пор вы не народу служили, а его врагам, врагам всего человечества. Вы совершили очень серьезные преступления, и не знаю, что решит суд, но, если будете вести себя хорошо, вам, возможно,

будет предоставлена возможность когда-либо действительно служить своему народу. Разумеется, сначала придется пройти период воспитания и перевоспитания.

— Если Бог мне поможет, — сказал я как бы самому себе, — может быть, и в самом деле смогу еще оказаться полезным своему народу.

— Бог? Вы верите в бога?

Без задних мыслей я вызвал перемену темы.

— Да, разумеется, я верю в Бога.

— Вижу, что и в этой области потребуется перевоспитание. Но должен сказать, что от вас, Менахем Вольфович, я такой глупости не ожидал. Вы человек образованный, как же вы можете верить в бога?

— Я знаю ученых, профессоров, которые верят в Бога.

— Глупости! Ученый в бога не может верить! Те, кого вы имеете в виду, только говорят о своей вере. Они наемники буржуазии. Кстати, вы можете объяснить мне, почему вы верите в бога?

— Это очень трудно объяснить, вера не поддается словесному, умственному объяснению.

— То-то же, вера в бога противоречит человеческому уму. Но почему вы верите?

— Вера не противоречит уму. Человек своим умом понимает, что некоторые вещи разуму недоступны, и поэтому он начинает верить в высшую силу.

— Есть вещи, недоступные разуму? Нет таких вещей. Наука может ответить на любой вопрос.

— Во всяком случае, наука не в состоянии решить проблему жизни и смерти.

– Кто рассказал вам эти сказки? Биология объясняет все, что относится к жизни и смерти.

– Я имел в виду не жизненные процессы, а загадку жизни. Не биологическое развитие, а так называемую первичную причину, которую наука не в состоянии объяснить. Наука достигла многого, но она не в состоянии вернуть жизнь мертвой мухе.

– Что вы говорите? Нет вещи, которую наука не могла бы объяснить? Это вопрос времени и развития науки. Двести лет назад человек знал меньше, чем он знал сто лет назад. А мы знаем намного больше того, что люди знали сто лет назад. Наука развивается. И в один прекрасный день не останется ничего загадочного. Я верю в науку и поэтому не верю в существование бога. Вы говорили о загадке жизни, а известно вам, что в Советском Союзе медицина сумела уже вернуть к жизни умерших людей?

– Нет, об этом я не читал.

– А я говорю вам, что это факт. Я сам читал об операциях на сердце, вернувших жизнь умершим. Верно, люди эти прожили недолго, но речь идет о начале пути. Уверен, что наша наука разрешит эту задачу. Я хочу, чтобы вы знали, в каком отсталом мире вы жили до сих пор. Если найду журнал со статьей, постараюсь передать его в камеру. Вам уже разрешается читать в камере?

– Нет, мы книг не получаем, и мои две книги я тоже до сих пор не получил.

– Ах да, только по окончании следствия арестованным разрешается читать.

Хорошее настроение покинуло его с той же внезапностью, что и появилось. Он вернулся к прежней теме.

— Хватит о философии. После следствия вы тоже сможете получить книги. Но вы сами оттягиваете окончание следствия, отказываясь подписать протокол.

— Я хочу подписать, гражданин следователь, но прошу заменить два слова, всего два слова.

— Снова! Что изменить? Что я должен менять? Я написал все, как вы говорили. Говорили, что были председателем польского Бейтара, я так и написал.

— Да, но я не виновен.

— О, еще как виновен! Вы даже сами не знаете, как вы виновны.

Спор продолжался много часов подряд с легкими вариациями. Были угрозы, увещевания и изнурительные повторения тех же аргументов.

Вдруг дверь комнаты отворилась, и вошел коллега следователя, майор НКВД.

— Ну что скажешь? — обратился к нему мой следователь. — Он отказывается подписать.

— Что отказывается подписать? — удивленно спросил майор.

— Протокол.

— Что? Я вижу, — обратился майор ко мне, — что вы хотите играть роль героя. Видали мы таких героев. Советую вам, для вашей же пользы, подписать. Вообще вам повезло, что у вас такой следователь,

но я вижу, что он слишком хорош для вас. Вы почему не хотите подписать?

— Гражданин майор, — сказал я, — я не герой и не играю такой роли. Но это вопрос веры. Я не могу подписать, что "признаю себя виновным" в вере в свои идеалы.

— О чем он говорит? — спросил майор моего следователя.

Следователь зачитал ему текст протокола и добавил:

— Вот это он не хочет подписывать.

— И это вы отказываетесь подписать? — снова обратился ко мне майор. — Ведь это правда, как же вы отказываетесь подписаться под правдой?

Я собирался снова — в который раз! — повторить свои аргументы, но, к моей великой радости, меня вдруг осенила замечательная идея, притом чисто юридическая:

— Гражданин майор, — сказал я, — я готов в любую минуту подписать этот протокол, но как могу я писать, что я виновен? Ведь я собираюсь защищать себя и думаю, что имею на это право. Я предстану перед судом и постараюсь доказать свою невиновность. Это моя единственная возможность, но как смогу я защищать себя перед судом, если еще до этого признаю свою вину?

Услышав это, майор сказал — не мне, а своему товарищу, но обращался он будто к самому себе:

— Суд! Подавай ему трибуну, трибуну для его красноречия! Кого вы хотите убедить, — снова обратился он ко мне, — нас, старых чекистов?

С момента своего ареста я в первый раз услышал это привычно вызывающее ужас слово: "чекисты". С какой гордостью оно было произнесено! Но чекист сказал и нечто более важное: он не повторил обещания своего товарища: "Будет суд", а прокричал: "Суд! Дайте ему трибуну!" С этими словами он вышел из комнаты.

С нескрываемым разочарованием в голосе я обратился к следователю:

— Вы несколько раз говорили, гражданин следователь, что будет суд, а теперь из слов майора я могу понять, что суда не будет.

— Не он, а я ваш следователь. Я сказал, что будет суд, — значит, будет! Но сначала надо кончить следствие. Подпишите протокол, и кончим.

С этого момента я отбросил все идеологические аргументы и ухватился за юридическую формулу: если подпишу, что виновен, — как смогу я защищать себя на суде?

Почти всю ночь продолжались пререкания о заключительном протоколе и двух словах. Наконец следователь сказал:

— Вы вредите самому себе. Мне, по правде говоря, все равно. Ваша вина ясно доказана. Но хватит, я чувствую отвращение к вам, вы для меня все равно, что обезьяна, африканская обезьяна, и я не хочу вас больше видеть. Я выбрасываю слово "виновным" и пишу: "Признаюсь, что был..."

Я ликовал. На ругань не обращал уже никакого внимания.

Близость русского и польского языков помогла мне уловить разницу между словами "признаюсь" и "признаю". Я попросил следователя изменить и это слово. Он не удостоил меня ответом, порвал на мелкие клочки протокол, написал его заново и прочитал новый текст:

"Признаю, что был председателем Бейтара в Польше..."

Я поставил свою подпись, и меня увели в камеру.

9. ЗАГАДКА "ПРИЗНАНИЙ"

Отвлечемся немного и поразмыслим над загадкой, которая возникла несколько десятилетий назад: над загадкой судебных процессов в Советском Союзе.

В чем здесь загадка?

Множество заговоров против правящей группировки России и стран-сателлитов вряд ли могло бы само по себе поразить человечество. История многих стран, и не только коммунистических, знает о заговорах против власти, не допускающей никакой критики, кроме "самокритики". Если верить свидетельству президента Чехословакии Э. Бенеша, Тухачевский действительно замышлял нечто вроде бонапартистского переворота. Возможно, вся вина Зиновьева, Каменева, Бухарина и Рыкова — друзей, соратников и оппонентов Ленина — состояла в том, что они знали Сталина по давним временам и не доверяли ему. Не следует, однако, забывать, что истории известно много мнимых заговоров, организованных и раскрытых самими диктаторами с целью уничтожения своих противников. Фуше, министр полиции Наполеона, как-то сказал: "Каждый уважающий себя министр обязан иметь про запас хотя бы несколько заговоров против правительства..."

Процессы в Москве и Софии, в Будапеште и Праге поражают не выдвинутыми обвинениями, а поведением обвиняемых. Беспристрастные наблюдатели, находящиеся вне сферы коммунистического давления, могут либо верить утверждениям прокурора Вышинского и его младших коллег, либо рассматривать их обвинительные акты как примеры "заговоров Фуше"; третьей возможности нет. Но в обоих случаях возникает неизменный вопрос: что случилось с подсудимыми?

Быть может, они действительно восстали против правителей своих стран, убедившись в порочности избранного ныне пути, разочаровались в коммунистических порядках и повели борьбу за другой режим; или, оставаясь коммунистами, они вступили в борьбу за "подлинный коммунизм", каким себе представляли его в мечтах молодости; но почему тогда они не заявляют о своей вере, о своих устремлениях? Ведь большинство из них старые опытные революционеры, для которых тюрьма, скамья подсудимых, пытки и смертельный риск не представляют ничего нового. Революционной борьбе они обучались не заочно, а прошли университеты подполья, преследований и страданий. Не раз сталкивались лицом к лицу со следователями, судьями, палачами, но не склонили головы, не просили пощады — они продолжали борьбу за свои идеи. Что же произошло с этими людьми теперь, когда им пришлось столкнуться лицом к лицу со следователем-чекистом, советским прокурором, красным палачом? Почему их признания не сопровождаются открытым, гордым,

достойным борцов за идею, заявлением: "Правда на нашей стороне"?

Если верен другой вариант и обвиняемые — жертвы инспирированного заговора, не совершившие никаких действий против правительств своих стран, то почему их покинул инстинкт самосохранения? Разве так ведут себя люди перед лицом смертельной опасности? Почему даже в последний момент они не кричат: "Мы не виновны!"?

История революций и войн — гражданских и национально-освободительных — знает немало людей, отдавших жизнь за идею, и не меньше людей, поступившихся идеей для спасения жизни. Но на советских процессах обвиняемые отрекаются от идеи и одновременно отказываются от жизни. И мир удивляется: что заставило их пойти на двойную жертву?

Это не единственный и не последний вопрос, возникающий при виде поразительных зрелищ, поставленных в тридцатых годах в Москве, в сороковых — в Софии и в пятидесятых — в Праге... Можно спросить: какова политическая цель режиссеров, потребовавших от своих жертв отказа от воли и жизни еще до того как милосердный кусок свинца оборвет их дыхание? Ответить нетрудно. Заправилы советского режима тоже прошли университеты идейно-революционной борьбы. Они знают, что одним из важных моральных факторов в войне между "слабыми" носителями идеи и "сильными" обладателями власти является ореол мученичества, достающийся преследуемым, отдающим жизнь ради идеи. Благодаря этому ореолу страдания еврейство устояло

и сохранилось в веках, а христианство из преследуемой касты превратилось в мировую религию. Благодаря этому кровавому нимбу идея свободы побеждала угнетателей на всех континентах и во все эпохи; готовностью к самопожертвованию, своею кровью еврейские повстанцы сумели в наши дни одолеть британских оккупантов с их военной мощью. Кровь борцов за идею – это жизненные соки самой идеи. Советские правители знают это не из теории, а из собственного опыта. Оттого они никогда не допустят никакого геройства, никаких пламенных речей с трибуны открытого судебного процесса; суд, насколько это возможно, призван снять ореол идейного мученичества с чела обвиняемых.

Как смеялся надо мной в комнате дознаний майор НКВД: "Суд! Дай ему трибуну!" Этот смех открыл мне принцип всей системы следствия и судопроизводства НКВД: трибуны никакой нет! Перед обвиняемым выбор: либо суд с идейной смертью, либо физическая смерть без суда.

Другой вопрос: из какого духовного источника почерпнули кремлевские руководители мысль о необходимости покаянной исповеди обвиняемых? Дело в том, что любая единоличная власть в той или иной мере патрональна, то есть наделена "комплексом отцовства" – как в положительном, так и в отрицательном смысле. Диктатор – отец, граждане – дети. Диктатор-отец заботится о детях, если они хорошие, и карает их, если они плохие. "Комплекс отцовства" советская власть распространила не только на политическую, но и на экономическую жизнь

страны: диктатор-отец является одновременно отцом-кормильцем. Отец, как известно, не довольствуется наказанием виновного сына: он требует признания ошибки, раскаяния, просьбы о прощении.

Если "отцовский комплекс" диктатуры достиг в Советском Союзе наивысшей силы, то и противоположный, дополняющий его "комплекс инфантильности" граждан тоже развился максимально, и "плохие дети" лобзают наказующую руку "отца". Это утверждение хотя и верно, но все же недостаточно, чтобы объяснить покаянные "исповеди" людей, в прошлом не только закаленных в суровых испытаниях, но и бывших долгое время руководителями, зачастую очень жестокими.

Действительно, поведение обвиняемых на процессах в Советском Союзе выходит далеко за рамки, понятные обычному человеческому уму. Неудивительно, что неискушенные наблюдатели в стремлении проникнуть в суть происходящего предполагают здесь загадку и выдвигают версию об уколах, известных только "медицине НКВД". Такую возможность должны, разумеется, учесть западные ученые. Но и самый простой, необразованный человек задаст вопрос: неужели возможны инъекции, заставляющие людей вспоминать имена, цифры, произносить многочасовые речи — и все это вопреки внутренней правде, скрытой в подсознании? Существуют препараты, ослабляющие волю человека и лишающие его способности скрыть правду. Но неужели существует и "укол лжи"? Стоит задать этот вопрос, как напрашивается вывод: в признаниях обви-

няемых есть много ужасного, но ничего таинственного нет.

Предположение, что обычные способы давления вроде побоев или пыток не являются решающим фактором в получении "признаний", наверняка вызовет утверждение, что мой личный опыт, приобретенный во время допросов, недостаточен, неполон. Это правда. Меня не пытали, не били. Мне только угрожали в управлении НКВД и в Лукишках "другими средствами", которые заставят меня согласиться с мнением следователя, но эти угрозы так и не были выполнены. Могу привести дополнительные свидетельства в пользу НКВД. В тюрьме и в бараках "исправительного" лагеря мне пришлось беседовать с сотнями заключенных. Никого из них не били и не пытали. Кто-то, правда, слышал, что следователи избили нескольких польских офицеров. Польский капитан, мой сокамерник, рассказывал, что во время одного из допросов следователь поднес пистолет к его носу и сказал: "Понюхай — поймешь, что тебя ждет". Холод металла вызвал неприятное чувство. Но и капитана никто не бил.

Возможно, обитателям Лукишек того периода повезло. Мы попали в тюрьму в период массовых арестов. Проводилась не особая, а обычная чистка: Литва два десятилетия находилась вне советского влияния, Красная армия осуществила "июньский переворот", и вслед за этим стражи революции произвели "профилактику". Тогда не готовились показательные процессы, и аресты должны были просто снять "подозрительную прослойку" из людей всех на-

циональностей, всех общественных групп. Интеллигенты, военные, научные работники, политические деятели, в том числе коммунисты и их адвокаты, должны были исчезнуть бесшумно, по решению Особого совещания, заседавшего "где-то в Москве".

Мне тоже повезло. Я оказался в серой многотысячной массе заключенных, которым суждено было исчезнуть — со следствием или без него. Следователь был уверен в моей виновности и прямо заявил: "Был /председателем Бейтара/? — Значит, виновен!" Я не сомневался в своей правоте, и честно заявил: "Был — и невиновен!" Разумеется, мне и в голову не пришло отрицать, что "был", и этого признания оказалось достаточно для следователя и его начальства. Следователь хотел, правда, от меня не только свидетельства, что "был", но и признания, что я "виновен в том, что был". Он не лгал, что многие подписали такое признание. Кадровые военные признавали себя виновными в том, что были генералами или полковниками польской армии; высшие чиновники — в том, что были начальниками отделов в министерстве внутренних дел Литвы. Они подписывали заключительный протокол без пыток, без побоев, — чтобы кончились бессонные ночи, чтобы поскорее прекратились бесконечные душевные пытки. Один из моих сокамерников, старый майор, с которым меня связала особая дружба, рассказал, что он тоже обратил внимание на текст заключительного протокола и требовал его изменить. Ему тоже пришлось выслушать угрозы и увещевания, но он стоял на своем и подписал текст без слова "вино-

вен". Но во время массовой "профилактики" НКВД, возможно, не придает особого значения нюансу, отделяющему формулировку "признаю, что был" от формулировки "признаю себя виновным в том, что был". Главное – "признание, что был" (предмет моей гордости и гордости сотен других заключенных) – у них в руках. И это все, что требуется.

Мой опыт, разумеется, далеко не полон. Я не признался, я не предстал перед судом. Но допустим, что советские следователи избивают и пытают особых подследственных, что, кстати, не запрещается ни одним советским законом... Один из заключенных, коммунист, рассказал мне о допросах в томской тюрьме. Однажды следователь, специалист своего дела, внезапно вскочил, выдернул ножку стула и принялся его избивать с монотонными криками: "Признаешься или нет? Признаешься или нет?" Заключенный, один из видных советских руководителей, просил следователя об одном: не бить по сердцу, по его больному сердцу.

Но неужели побоями или другими физическими пытками можно объяснить публичные "признания" и "исповеди" обвиняемых? Разве в других странах не избивают в полиции? Разве в других странах не применяют пытки при допросах в полицейских участках – военных и гражданских? В большинстве государств существуют законы, запрещающие применение физического воздействия, но кто станет отрицать, что следователи часто сознательно нарушают эти законы? Кто станет отрицать, что в большинстве случаев варварские действия блюстителей за-

кона не становятся достоянием общественности, что лишь в очень редких случаях чиновники-правонарушители несут наказание? Все так. Но тем не менее нет в мире полиции, способной тягаться с советской тайной полицией и ее филиалами в странах-сателлитах. Люди часто не выдерживают пыток, но далеко не всегда пытки способны сломить волю человека. И ведь многие из тех, кто "каялся" на советских показательных процессах с "трибуны исчезновения", подвергались адским мукам в застенках других режимов – и выстояли!

В чем же решение этой величайшей загадки наших дней?

По-моему, находясь вблизи и изнутри, мне удалось изучить решающие факторы, которые заставляют обреченных на смерть "каяться" перед своими палачами. Во-первых, это — изоляция. Имеется в виду не физическая изоляция, известная в юриспруденции под названием инкоммуникадо. (Без нее, разумеется, тоже не обходятся в царстве НКВД, и она здесь осуществляется в абсолютной полноте: после ареста ты получишь свидание с близкими родственниками только перед отправкой на "перевоспитание"; в тюрьме тебя не посетит адвокат, и ты вообще не будешь видеть никого, кроме следователя и соседей по камере; переступив порог НКВД, ты исчезаешь; члены семьи знают только — иногда им и этого не сообщают, – что ты "там, где надо", в "надежных руках". Стену этой изоляции не измеришь ни в высоту, ни в толщину .)

Но над стеной физической изоляции возвышается другая, невидимая, но более прочная и непроницаемая, чем первая, — из железа, бетона и сторожевых вышек. Смысл этой "высшей" стены не в режиме изоляции, а в изоляции режима. Подобной стены до сих пор не знала история.

При любой другой власти найдется газета, которая опубликует слова арестованного, подследственного, подсудимого. И если арестованный — борец, стремления и деятельность которого выходят за рамки формального закона, при любом другом строе появится размноженная на станке или от руки листовка, рассказывающая, за что человек арестован, каких признаний от него добиваются, что он сказал. Борец-революционер черпает силы в сознании, что его слова дойдут до людей, молчание будет услышано, стойкость будет оценена. Только малодушные циники, не понимающие переживаний борца, могут называть это тщеславием. В действительности это высокое состояние души, когда человек един с идеей, за которую готов отдать жизнь. Борец, готовый вынести страдания, преследования, голод, пытки, страх смерти во имя идеи, — это герой, и неважно, чем он вооружен: винтовкой, луком и стрелами, верой в Бога, научной идеей или стремлением к свободе. Но ему необходимо знать, что его жертва не напрасна, что она принесет пользу идее, даст ей новых последователей, новых борцов. Только так может победить идея. Как готова мать во имя любви к ребенку пожертвовать жизнью, так готов борец отдать жизнь ради идеи.

Но если человек знает, что никто его не услышит, никто не оценит его стойкости и жертвы, никто не последует его примеру, — слабеет нить между ним и идеей, исчезает сознание важности своей миссии, и измученная душа спрашивает: "Кто узнает? Кто пойдет за мной? Кто заменит меня? Какой смысл в страданиях? Какой толк в мучениях?"

Двойная стена, воздвигнутая советским режимом вокруг особых заключенных делает эти вопросы неизбежными. Ответ один: "Нет пользы, нет толку". В день или ночь, когда заключенный задает себе эти вопросы и находит единственный безутешный ответ, решается его судьба: его ждет не только физическое уничтожение (оно в любом случае обеспечено), а нечто, неизвестное истории революционных движений: служба идее палача. Двойная изоляция самым простым путем, без таинственных уколов и страшных пыток, достигает своей двойной цели: исчезает ореол самопожертвования ради идеи, направленной против режима, и остается непреодолимая сила режима.

Если бы Бухарин мог рассчитывать, что "Правда" опубликует текст его "бесед" со следователем или его выступление на суде; если бы он, по крайней мере, мог предположить, что где-то на воле появится листовка с правдой о процессе; если бы он мог допустить мысль, что его слова дойдут до сознания молодого следователя, при мне назвавшего одного из главных руководителей революции международным шпионом; если бы он мог поверить, что правда станет известна жителям столицы, про-

винциального города или какой-нибудь деревни, он, возможно, обвинил бы власти в контрреволюционной деятельности (если он действительно выступал против властей) или смело отверг бы все обвинения (если он против властей не выступал). Но Бухарин знал, что "Правда" будет писать изо дня в день, еще до начала суда, задолго до приговора, что он международный шпион, бешеный пес империализма, изменник родины; Бухарин знал, что все остальные газеты и радиостанции страны повторят, с новыми оскорблениями и проклятиями в его адрес, все написанное "Правдой"; он знал, что в Советском Союзе не появится ни одной правдивой листовки о процессе; Бухарин знал, что ни один из миллионов советских граждан не услышит и не прочитает его слов, но все они как один поверят, что он наемник международной буржуазии и враг пролетарской революции. Сознавая все это, он в одну из ночей задал себе вопрос: "Какой смысл? Какой толк?" — и пришел к выводу: "Никакого. Подписывай или не подписывай — ничего не изменится".

Мой молодой следователь, без колебаний поверивший, что Бухарин был шпионом, возглавляя Коминтерн, а Троцкий был агентом буржуазии, возглавляя Красную армию, держал в своих руках один ключ к изнуренным душам обвиняемых. Второй ключ находился в руках старого чекиста, майора НКВД, кричавшего: "Суд! Дай ему трибуну!" Этими ключами наглухо замыкается мир двойной абсолютной изоляции, в котором находит свое реше-

ние страшная, но далеко не мистическая загадка советских судебных процессов.

В этом изолированном мире особо важное значение имеют угрозы, касающиеся родных и близких арестованного. НКВД умело использует эти самые страшные на свете угрозы. Человек с готовностью примет страдания за идею, но он всей душой воспротивится преследованию его ни в чем не повинных родных. Даже в условиях, не похожих на те, что были в тюрьмах НКВД, можно довести заключенного до отчаяния и добиться от него многого, угрожая преследованием жены и детей. Все же известно немало случаев, когда революционеры выстояли и перед этим жутким нравственным испытанием.

Рассказывают, что в годы подполья Феликсу Дзержинскому пришлось пережить страшную личную трагедию. Жандармы царской охранки не только его самого подвергли адским пыткам, — на глазах у Дзержинского они издевались над его невестой. Возможно, поэтому Дзержинский впоследствии не знал жалости к своим жертвам. Но факт остается фактом: следователи охранки не сумели сломить дух борца. Он выдержал пытки и не отрекся от своих убеждений ради избавления от пыток и издевательств любимого человека. Ягоду, смещенного со своего поста руководителя сталинских чекистов, удалось сломить его собственным ученикам, и он "во всем сознался".

Узникам НКВД повезло меньше, чем основателю этого учреждения — Феликсу Дзержинскому. Его

допрашивала охранка, он же боролся за идею и верил, что его стойкость, о которой непременно узнают друзья и соратники, будет вкладом в победу идеи. А узники НКВД? По ночам следователи методически искореняли в них мысль об их высоком предназначении и так же методически твердили о бесполезности упорства, а коли нет смысла в их страданиях, для чего страдать близким? Нет сомнения в том, что угроза преследования родных (равно как и обещание не трогать родных и близких) является одним из способов воздействия, ломающих стойкость узника.

К тем же методам обработки относятся обещания, что после "перевоспитания" ему, преступнику, позволят вернуться к обществу, служить на благо народа. И пусть не говорят, что узники НКВД не верят этим посулам. Кто хочет жить, тот верит. Желание жить не оставляет человека до последнего момента. Разве, стоя под дулами винтовок, наши несчастные братья не верили, что их вырвут из рук нацистских убийц? Не зря ведь говорят: "Dum spiro, spero"*. Поэтому увещевания и обещания тоже помогают получить подпись, которая отрезает все пути к отступлению. Но все эти факторы являются лишь вспомогательными и не идут в сравнение с главным фактором: изоляцией.

Вторым по действенности фактором можно считать лишение сна. Этот метод знаком мне как по управлению НКВД, так и по Лукишкам. Лишение

*Пока дышу, надеюсь. – (лат.)

сна является неотъемлемой частью каждого следствия в Советском Союзе. НКВД работает в основном по ночам, и допросы почти всегда проводятся в часы между вечерними и предрассветными сумерками. Днем спать или дремать запрещается. "Юдаш" вставлен в двери с двойной целью: пресечь покушение заключенного на самоубийство и не допустить, чтобы он спал. На это есть охранник. Если дежурный увидит в "юдаш", что заключенный дремлет на пченогом табурете, он откроет дверь или окошко предупредит: "Не знаешь, что спать запрещается? Будешь спать, пойдешь в карцер". Тут спорить не с шь: лучше не спать в камере, чем спать в карце Это я тоже усвоил в Лукишках.

Рассказывая о ночных допросах, я уже упомянул вкратце об основных чертах этого действа. Заключенный засыпает первым, глубоким сном, но его будят для допроса; допрос длится почти до утра; следователь тоже работает по ночам, но зато днем он может выспаться в чистой, удобной постели; если же следователь устает, вместо него приходит другой: в НКВД нет недостатка в следователях, как нет недостатка в подследственных. После ночного допроса заключенный возвращается в камеру, кладет голову на соломенный тюфяк и засыпает; проходит совсем немного времени, и пронзительный звук заставляет его вскочить. Наступает новый день с постоянным чувством голода; ночь обещает кошмар возобновившегося следствия. И опять наступает день без сна, а за ним ночь с допросами. И опять, и опять... И так ночь за ночью, в течение многих не-

дель, а может быть, и месяцев, кто знает сколько времени. В голове подследственного сгущается странный туман; он до смерти устал, ноги подкашиваются, его преследует одно страстное желание: спать, вздремнуть хоть немного, не вставать, полежать, отдохнуть, забыться, заснуть и больше не вставать. Голод или жажда – ничто по сравнению с этим желанием. Я знал заключенных, которые подписали все, о чем их просили, получив одно-единственное обещание следователя. Следователь обещал не свободу, не сытный обед; он им обещал, если подпишут, разрешить поспать, и они подписали. Дальше страдать не имело смысла, а так хотелось спать, спать... Главное – спать.

Третий способ ломки придуман специально для преданных коммунистов, руководителей и активистов партии, переступивших порог следственного кабинета. Их мир разрушен. А другой для них не существует – ни на земле, ни на небесах. Некогда они занимали большие посты, владели жизнью и смертью тысяч людей. Теперь они уподобились псам – "бешеным псам". Такое глубокое падение уже само по себе способно сломить сопротивление. Но следователю этого мало. Несчастные уверяют, что они верны идеалу коммунизма, но они тут же вынуждены признать, что кто-то по праву устанавливает эти идеалы и меры по их воплощению в жизнь. Они сами говорили, писали и верили в это, они продолжают в это верить. Человек, устанавливающий норму идеала, находится далеко, а перед ними сидит полномочный представитель вождя и требует, во

имя идеалов коммунизма, "полного признания" ошибок, прегрешений, преступлений. Что на это ответить? Что можно ответить после многих ночей допросов? За что бороться? Ради чего страдать? Какой в этом толк? Кто за ними пойдет? Кто придет вместо них? Как же не "признаться" — во имя партии, во имя революции?

Система, выработанная НКВД, предназначалась главным образом для коммунистических руководителей, вошедших, по той или иной причине, в конфликт с высшим руководством страны или ставших жертвами "воспитательных мероприятий" правящего режима. И коммунисты действительно являются наиболее удобным объектом для применения методов НКВД, способных сломить дух человека без физического воздействия.

10. НА ПОРОГЕ

По окончании следствия у меня созрело желание послать жене условный развод. Впервые эта мысль возникла за двадцать четыре часа до "очной ставки с близким человеком". Ведь тогда я был почти уверен, что близкий человек, о котором с улыбкой говорил следователь, – это моя жена. Переживания этих часов и породили мысль о таком разводе, но, приняв решение, я вовсе не тешил себя надеждой, что развод спасет жену от ареста. Основная причина решения была иная.

После заключительной беседы со следователем я не думал уже о том, что он сказал мне и что я ему ответил на прошлых допросах, что он скажет мне и что я отвечу ему, если все же вызовут меня еще раз. Я думал о будущем. На судьбу не роптал. Душа страстно жаждала жизни и свободы, но и в самых смелых мечтах я не забывал спросить себя: "А наступит ли день освобождения? Когда? Как?" Из головы не выходили слова следователя: "Будет суд, будет срок для перевоспитания". Неизбежно возникали вопросы: "Когда кончится срок "перевоспитания"? Сумеешь ли ты пережить его и вернуться?"

Разлука предстоит долгая... Возможно, пройдет много лет, и никто даже не узнает, где гниют твои

кости. На это тоже грех жаловаться. Ведь сам поклялся: "Посвящаю свою жизнь..." И разве ты страдаешь один? Твое будущее сомнительно, но это не значит, что можно лишить будущего женщину, которая ждет твоего возвращения – и ждет, может быть, напрасно! Ей всего двадцать лет. Ее жизнь впереди. Как можно приговорить ее к ожиданию до седых волос, к бесконечному одиночеству? Ты должен, обязан сказать ей, что, если не вернешься до определенного срока, она может считать себя свободной.

В тюремной камере исчезает интимность – как телесная, так и душевная. Душа заключенного требует возмещения за свое одиночество. И чем больнее оторванность от близких, тем ближе становятся заключенному чужие, далекие люди. С соседом по камере арестант готов говорить обо всем; он советуется с ним по всем вопросам; он хочет узнать мнение соседа. У трех обитателей нашей камеры было мало общего. Каждый из нас пришел из другого мира и хотел вернуться в другой мир. Но заключение сближает и совершенно чужих друг другу людей. Сердца соседей по камере открыты передо мной, и свое сердце я раскрываю перед ними. Мыслями о разводе я тоже поделился со своими соседями и поинтересовался их мнением.

Сначала они на меня рассердились. Сказали, что своими размышлениями и вопросами я зародил в них беспокойство о семьях. Офицер сказал, что в тюрьме, особенно в большевистской, не имеет смысла напрягать мозг и терзать душу тревогой о близ-

ких, оставшихся "на свободе". "Помочь им мы все равно не можем, – весьма логично рассуждал вслух офицер, – для чего же мучить себя?" Капрал согласился с ним, и большинством голосов (я воздержался) было "решено не заботиться" о семьях и не говорить на эту тему. Вторая часть решения в камере соблюдалась. В течение многих дней и недель мы говорили об охоте и умении пить, о ксендзах и генералах, о поэзии и опере, об истории и политике. Говорили на многие темы, но о семьях не вспоминали. Что касается первой части решения ...

Однажды после утренней молитвы и "кофе" капрал начал, как обычно, рассказывать приснившийся ему сон. "Всю ночь, – сказал он на этот раз, – мне снилась моя старушка мать". Он пересказал сон во всех подробностях: как мать была одета, как спросила, не жмут ли ему новые сапоги, как погладила его по голове, обещала сыночку, что они снова будут вместе, как на вопрос "когда?" не ответила и улыбнулась, так печально улыбнулась... Неожиданно капрал прервал свой рассказ и забормотал: "Мама, мамочка, добрая моя старушка". Глаза его заблестели, он поспешно встал с табурета и отошел в угол, в котором обычно молился. Он был мужчина, солдат и стыдился своих слез.

Но оба моих соседа, офицер и капрал, обвинили меня в явном и постоянном нарушении "соглашения". Офицер заявил, что теперь ему понятны причины моего молчания в последнее время и нежелания вступать в разговоры. Капрал сказал, что теперь он знает, о чем я думал во время "прогулок"

и почему ему часто приходилось повторять свои вопросы. Оба они справедливо заявили: "Мы решили помогать друг другу в этом зловонии и не уходить в себя со своими мыслями. Ты же несколько дней встревожен. У нас такое же положение, как у тебя. Если каждый из нас станет тревожиться о семье, как сможем мы помогать друг другу?"

Они были правы, а главное – желали мне добра. Их эгоизм должен был помочь мне. Я извинился и поблагодарил их. Они больше не повторяли своих претензий, но предложили обсудить мое намерение, чтобы, приняв окончательное решение, я перестал беспокоиться и мог внимательно слушать охотничьи рассказы офицера и фронтовые истории капрала. Обсуждение было коротким. Соседи вдумчиво рассмотрели мое решение и решительно отвергли мысль, что я не вернусь, как отвергал я в их черные минуты предположения, что они не вернутся домой к своим семьям. И все же, к моему изумлению и радости, они мое решение поддержали. Офицер сказал:

– Я уверен, что твоя жена не примет "подарок", но именно поэтому ты можешь его послать. С Божьей помощью, вы оба еще посмеетесь над этим "разводом".

Я пожал ему руку.

Мы разошлись во мнениях относительно срока, после которого жена может считать себя свободной. Я предложил три года, но офицер считал, что нужно не менее пяти лет. Капрал поддержал его. Я согласился с ними, а они дали согласие в случае необхо-

димости подписать документ в качестве свидетелей. Чтобы жениться на девушке по всем правилам еврейской религии, нужны два "кашерных" свидетеля; чтобы развестись условно в большевистской тюрьме можно обойтись и "некашерными" свидетелями.

Я собирался выполнить свое правильное, трудное и жестокое решение, но для этого нужны были бумага и чернила, а получить их в тюрьме не просто. Для отправки письма необходимо разрешение следователя, но следствие уже закончено и следователя нет. Поэтому надо обратиться к следователю с письменным заявлением и попросить разрешения на составление предложения о разводе. Но чтобы обратиться к следователю, нужно разрешение начальника тюрьмы. И снова: обратиться к начальнику тюрьмы можно только с разрешения корпусного офицера. Как, черт побери, в следственной тюрьме НКВД написать заявление о разводе?

Время бежало, и 1940 год подошел к концу. В ночь с 31 декабря 1940 года на 1 января 1941 года в нашей камере состоялась "встреча Нового года". В Лукишках этот день ничем не отличался от всех остальных: в канун Нового года мы получили обычный "кофе" утром и обычный "суп" в полдень и вечером; сигнал подъема раздался в свое время; как всегда, мы застелили тюфяки. Не заставили себя ждать шаги у двери камеры, и мы могли предположить, что охранник наблюдает за нами в "юдаш". Но, отправляясь спать, мои соседи твердо решили, невзирая на "юдаш", через несколько часов, когда часы на Кафедральной площади пробьют полночь,

встать и "поднять бокалы" в честь Нового года. Они пригласили меня "на вечеринку", и я приглашение принял.

Мы сделали необходимые приготовления: утром выпили всего по полчашки "кофе". Да не покажется это вам простым делом! Речь идет об узниках НКВД, которые встают и ложатся голодными и сыты только во сне...

Узнику НКВД очень трудно оставить что-то из полученной пайки на более поздний час. Как часто заключенные не могут удержаться и проглатывают утром всю дневную порцию хлеба, а потом ходят голодными до утра. С какой завистью смотрят они на соседей, сумевших поделить порцию на три части! Как часто дают себе слово следовать примеру других! Сколько раз говорят: "Еще один кусочек, остальное сохраню"! И сколько раз нарушают обещание, превращаясь в "хлебных наркоманов"! Алкоголик говорит себе: "Это последний глоток" – и продолжает пить глоток за глотком. Так и эти несчастные, измученные голодом люди отщипывают крошку за крошкой, пока от отложенного хлеба не остается ничего, кроме разъедающего нутро ожидания новой утренней порции.

Во всех тюремных камерах и бараках концлагерей, в которых я побывал, можно было поделить заключенных на две категории: расточители, сразу съедающие полученный хлеб, и сберегатели, делящие хлеб на три порции. В нашей маленькой камере мы тоже поделились на две категории. Капрал был расточитель, обещал себе экономить, но выполнял обещание очень

редко. Мы с офицером были сберегатели. В своей экономической политике сосед достиг верха совершенства, и я следовал его примеру: мы делили хлеб не на три, а на четыре (!) порции. Небольшой кусочек мы оставляли на утро – на часы, отделяющие подъем от получения новой порции хлеба. Не стыжусь признаться: иногда, едва раскрыв глаза, я смотрел на полку, где лежал крохотный ломоть. Как радовался я этому куску хлеба! Каким вкусным он мне казался! Гурманы, гурманы, что вы знаете о вкусе хлеба?

Итак, это вовсе не просто прекратить "кофепитие", когда в чашке остается половина коричневой жидкости. Тяжело – особенно для расточителя – весь день видеть на нарах прикрытую миской чашку, и не прикасаться к ней. Но и расточитель превозмог голос желудка, так как кончался старый год, а наступление Нового года надо, по обычаю, "смочить". Водки нет – будем пить "кофе".

Я спал глубоким сном, и разбудил меня офицер, проснувшийся благодаря "внутренним часам" и часам на центральной городской площади: было без четверти двенадцать. Офицер – старший на пиршестве – встал и принес нам чашки. Мы сидели и молча ждали. В наступившей тишине раздался бой часов: раз, два, три, четыре, пять... двенадцать! Подняли "бокалы". Мы пили за Новый год.

Кто мог знать, что начинается не новый год, а новая эпоха? Кончился 1940 год – год победы Германии над Францией, год обмена поздравлениями между Гитлером и Сталиным, год "кровного союза" между Берлином и Москвой. Начался 1941 год – год

нападения Германии на Россию, год нападения Японии на Соединенные Штаты, год распространения войны на все районы земного шара, а для нас – год отправки на Крайний Север...

Мы всего этого еще не знали.

Через несколько дней после Нового года открылась дверь нашей камеры и раздался шепот:

– Кто на "Б"?

Вопрос удивил меня. Неужели снова следствие? Значит, в царстве НКВД произошел переворот. Ведь теперь не ночь, а день, кто же спрашивает средь бела дня: "Кто на "Б"? Но когда дверь приоткрыта и охранник стоит на пороге со списком в руках, некогда спрашивать почему и как – надо отвечать.

– С вещами! – сказал охранник, когда я назвал имя, отчество и фамилию.

Это тоже одно из наиболее ходовых выражений в коридорах тюрьмы НКВД. Вместо: "Возьмите вещи и идите с нами" – короткое: "С вещами!" Иногда эти слова пробуждают надежду, но чаще всего – сильный страх. Случаи освобождения из тюрем НКВД можно пересчитать по пальцам, заключенные о них вообще ничего не знают. И все же приказ: "С вещами!" – зарождает надежду: "Может быть, я один из тысячи, из десяти тысяч, и приказ означает – домой?.." Но приказ может означать и другое – в неизвестность! Поэтому страх в душе заключенного всегда сильнее надежды.

Последняя беседа со следователем не позволяла иметь какие бы то ни было иллюзии о том, что означало для меня "с вещами".

– Тебя переводят в другую камеру, – сказал капрал.

Я тоже считал, что меня переводят.

– Жаль, – добавил капрал, – мы еще многого не успели выучить.

Я тоже жалел.

В этой маленькой камере я просидел три месяца, а по тюремному счету – целых сто дней и ночей. Привык к соседям, они привыкли ко мне. Между нами были невидимые перегородки, мы спорили и ссорились, но мы успели узнать друг друга, научились понимать и прощать. Мы превратились в маленькую общину с ее неписаным уставом. Здесь я немного учил других и многому научился сам. Здесь я провел период следствия, здесь принял трудное решение... Жаль... Кто теперь будет моим соседом?

Но в тюрьме нет времени для излияний. Раздаются слова, которые слышны от одного края Советского Союза до другого – во всех тюрьмах, во всех концлагерях, на всех перевалочных пунктах: "Давай поскорей!" – ворчит охранник. Надо торопиться, собирать вещи и прощаться с соседями.

Капрал снял с полки мою миску, чашку и деревянную ложку – посуду, с которой заключенный не расстается. Я собрал свои немногие вещи. За время пребывания в тюрьме я получил несколько небольших посылок, но в одной из них была настоящая ценность: зубная щетка. Ах, эти маленькие посылочки. Мы обыскивали их куда более тщательно, чем тюремная охрана. Искали какого-нибудь знака от родных: нитки, вышивки на рукаве, под

воротником... Ничего не находили. Но и без вышитой весточки эти маленькие посылочки были для нас длинными письмами: тебя помнят, о тебе заботятся, о тебе думают... Теперь пальцы снова ощупывают матерчатые "письма", от которых несет теплом далекого дома.

— Давай поскорее! — снова ворчит охранник. — закругляйтесь, закругляйтесь.

Да, пора закругляться.

Мой ученик-капрал продолжал помогать мне, но офицер стоял в стороне и напряженно молчал. Дело было, к сожалению, после одного из наиболее тяжелых приступов его любви к порядку. Двадцать четыре часа он не разговаривал ни со мной, ни с капралом. Как с ним проститься? Не было времени думать, не было времени ждать примирения, которое в обычных случаях раньше или позже наступало само собой. Я протянул ему руку, и он, забыв все обиды, горячо ее пожал.

— До свидания, всего хорошего! Всего, всего вам хорошего.

Капрал протянул мне узелок с вещами. Мы обнялись.

— До свидания, всего хорошего!

— Ты все же подумай об этом деле! — успел прокричать офицер.

— Спасибо, от всего сердца спасибо. До свидания, всего хорошего!

Я понял, что он имел в виду. Я еще не успел отправить заявление о разводе...

Дверь камеры захлопнулась за мной, разлучив меня с моими соседями.

Больше я их никогда не видел.

11. ГОЛОДОВКА

Меня ввели в большую, общую камеру. К стенам были прикреплены двенадцать железных коек, но в камере было не менее тридцати человек. К койкам не притрагивались, как не притрагивались к единственной койке в моей прежней камере – все спали на полу.

В основном здесь сидели бывшие военнослужащие польской армии. Одному из них, офицеру, пришлось "понюхать" пистолет следователя. Я пытался с ним заговорить, но сблизиться с гордым, как породистая лошадь, кавалерийским офицером оказалось невозможным.

Об этой камере мне нечего рассказать – я просидел в ней лишь несколько дней. Оттуда меня вместе с несколькими другими арестованными перевели в другую камеру, тоже общую. Но не успел я в ней обжиться, как меня перевели снова – какой смысл в этих переводах, никто не знал – в третью общую камеру, которую я не покидал уже до самого конца пребывания в Лукишках.

В первый день после прибытия на "постоянное жительство" выяснилось одно обстоятельство, которое мучило меня своей загадочностью еще со времен ночных допросов. Во время одного из теорети-

ческих споров о марксизме, коммунизме и сионизме следователь спросил меня:

– Вы Бернштейна знаете?

– Да, – ответил я, – читал. Это создатель ревизионизма в социалистическом движении.

– О чем вы говорите? – удивился следователь.

– О Бернштейне, о его дискуссии с Каутским.

– А, опять ваша болтовня, – промямлил следователь и перешел к основной теме.

Я ничего не понял.

Я не понимал изумления и насмешливого тона следователя, пока не познакомился с заключенными моей четвертой камеры. Как обычно, я назвал свое имя, а они по очереди свои имена. Один из них громко и отчетливо сказал:

– Бернштейн.

Мордехай Бернштейн был одним из руководителей Бунда в Польше. Его следователь в Лукишках дружил с моим следователем. Они наверняка часто делились впечатлениями о "клиентах"; вопрос моего следователя был поэтому случайный, но вполне естественный. Тут обнаружился поразительный факт: офицер НКВД, слушатель школы марксизма-ленинизма, воспитанник революции, цитировавший наизусть "Краткий курс истории ВКП(б)", ничего не слышал об Э. Бернштейне, как я ничего не слышал о Мордехае Бернштейне. Образование советских марксистов молодого поколения весьма одностороннее, и это относится даже к истории марксизма. Следователь, может быть, думал, что я собираюсь бундовца превратить в настоящего ревизиониста...

Бернштейн (Мордехай) искренне посмеялся над недоразумением в связи с его именем; я от души смеялся над вопросом его следователя о бундовско-ревизионистском составе Второго Интернационала. Наши идеологические разногласия невозможно было преодолеть даже в Лукишках, но Бернштейн оказался добрым человеком, хорошо знал иврит, умел шутить в самые трудные часы, и мы сдружились.

В общей камере я встретил еще одного бундовца — известного варшавского врача-стоматолога доктора Лифшица. Он тоже оказался "врагом народа", "ставленником буржуазии" и "сподручным польской тайной полиции". Как и его товарищ по Бунду, Лифшиц заявил следователю, что именно компартия кишмя кишит полицейскими агентами и это нетрудно доказать: Коминтерн распустил польскую компартию из-за внутренних провокаций и раздоров. Но ему не помогли эти аргументы. Он тоже выслушал "контраргументы" в виде отборных ругательств и тоже протестовал. Ему приходилось очень тяжело и в камере, он мучительно страдал от голода. В отличие от своего единомышленника, Лифшиц был по натуре пессимист. Но в одном пункте он проявлял оптимизм: "Если Гитлер будет побежден, — говорил он обычно, делая ударение на слове если, — вы, сионисты, воспользуетесь плодами этой победы, так как Англия в этом случае наверняка даст вам государство". Англичане нам государство так и не дали, но оно все же было создано. От "пророков" нельзя требовать абсолютной точности.

В общей камере, где было шестнадцать коек и около шестидесяти человек, я встретил еще одного еврея. Он не был ни бундовцем, ни сионистом, он вообще не был политическим. Как этот опытный варшавский вор, мастер своего дела, попал в тюрьму, даже не успев ничего украсть в Вильнюсе? И как попал он в камеру политических, где сидели общественные деятели, высшие офицеры армии, судьи, профессора, полицейские чины, бывший заместитель министра? Не похоже было, чтобы специалисты НКВД использовали его как подсадную утку. Он, правда, мало разговаривал – то ли был молчалив от природы, то ли компания не подходила, – но своей профессии не стеснялся. Из-за этой профессии остальные сокамерники избегали контактов с ним и предпочитали иметь с ним дело только за шашечной доской – вор обыгрывал в шашки всех интеллигентов и обучал их комбинациям. Может быть, его посадили в нашу камеру, чтобы арестованные, опасаясь вора, потеряли чувство осторожности в отношениях с настоящим подсаженным агентом – человеком, конечно, интеллигентным, способным поддержать разговор и шутку? Когда речь идет о тайной полиции, такое предположение вполне логично. Но частые беседы с вором показали мне, что дело обстояло гораздо проще. Он пробирался в Вильнюс с имуществом, награбленным в дни бомбардировок Варшавы (доктор Лифшиц упрекнул вора в том, что он воспользовался трагедией людей, но тот спокойно ответил: "Если бы не я, другие взяли бы. Какая разница?"). Он перешел "зеленую черту",

но был схвачен советскими пограничниками и обвинен не в краже или контрабанде, а в шпионаже. "Какой же я шпион?" — спрашивал несчастный вор, привыкший к тюремной жизни. На этот вопрос ответить никто не мог, он мог утешаться только повышением в чине — до звания политического преступника — и пребыванием в обществе "наймитов буржуазии и агентов империализма".

Большая камера, в которой оказались знакомый 78-летний полковник и мой старый друг майор, гудела как улей. Весь день без перерыва шли беседы. Обычно люди разбивались на отдельные группы. В любом обществе человек ищет близких ему по складу. И в тюрьме существуют, оказывается, "закрытые клубы". Но были в камере и люди, старавшиеся поддержать общее хорошее расположение духа. По их инициативе мы организовали кружки по изучению языков, литературы и истории, спорили на общие темы. Однажды совсем необразованный человек рассказал нам о жизни пчел. С каким увлечением, с каким чувством он, всю жизнь посвятивший пчелам, говорил об их маленьких царствах! Мы могли слушать его без конца и пришли к единому мнению, что его рассказ куда интереснее любой ученой лекции. Чтобы отвлечься, мы затеяли шахматно-шашечный турнир. И хотя фигуры, сделанные из хлебного мякиша (часто с поразительным мастерством), у нас отбирали во время ночных обысков, мы продолжали играть. В любых условиях человек остается общественным существом. Вывод: общая камера лучше одиночки.

Некоторые заключенные использовали преимущества общей камеры для очень практической цели. Это были расточители, страдавшие от голода больше своих товарищей. Когда приносили "суп", они старались получить его первыми. С миской в руках они забивались в угол и мгновенно поглощали свою порцию. Тут же бежали к двери, несколькими каплями воды (в камере воды всегда не хватало) смывали с мисок остатки баланды, вытирали их тряпкой, именуемой полотенцем, и становились опять в очередь. Трюк удавался, если раздатчик невнимательно пересчитывал порции или если нам удавалось сбить его со счета, а в нем советские тюремщики обычно не сильны. Но чаще вместо дополнительной порции баланды они получали порцию отборной русской брани. "Так твою мать, – кричал тюремщик. – Ты что, не получил еще?" Расточители отходили с пустыми мисками, не отвечая на оскорбления. Назавтра они снова пытали счастья. Голод... Голод сводит человека с ума и лишает его чести.

Увеличилось число обитателей камеры, и расточителям пришлось установить очередь в очереди – сегодня пытают счастья одни, завтра – другие. Иногда расточители предлагали всем обитателям камеры участвовать в их стратегии, но многие с отвращением отвергали их предложение. Даже в те немногие дни, когда наши "кормильцы" с настоящей революционной торжественностью объявляли: "Сегодня добавка!", "сытые" отдавали свою добавку голодным. Голод всегда голод, но человеческая воля может пересилить его.

Интересный факт: вор никогда не становился во вторую очередь. Свои профессиональные навыки он применял лишь на воле. Этого принципа он придерживался не только в отношении мисок. Однажды один из нас заявил о пропаже какой-то вещи. Это был редкий, пожалуй, даже единственный случай в камере. Пострадавшему не пришло, разумеется, в голову жаловаться начальству: это было дело внутреннее и разобраться должна была "власть на местах". Подозрение, естественно, пало на вора, но, когда дежурные в подходящий момент (во время коллективной оправки) осмотрели личные вещи, пропажа обнаружилась не у вора, а у самого типичного интеллигента.

В тюрьме нам пришлось столкнуться и с другим странным явлением. Были среди заключенных здоровые, мускулистые люди (в основном бывшие полицейские), и были хилые, слабые, худые (в основном интеллигенты). Как ни странно, здоровяки физически страдали больше слабых и чаще жаловались женщине-врачу, которая обычно отделывалась аспирином и говорила: "Здесь вам не пансион". Слабые не болели и не жаловались.

И так называемыми "телефонистами" всегда бывали здоровяки. Кто это такие? Это заключенные, которые могли часами стоять у двери и прислушиваться к каждому звуку в ожидании раздачи пищи. Время от времени они взволнованно обращались к остальным с просьбой немного успокоиться. Но чаще всего камера не удостаивала их ответом. Сцена повторялась изо дня в день и продолжалась мно-

го часов. Телефонисты не отчаивались и оставались на своем посту. "Несут!" – раздавался внезапно их крик. Но телефонная служба не всегда работала исправно – если и несли, то не всегда нам. Телефонисты приходили в смятение и отходили от двери, но после короткого перерыва возвращались и слушали, слушали... пока не приносили бак. Разумеется, мы и к ним относились с пониманием. Несчастным казалось, что, прислушиваясь к характерному постукиванию черпака о стенку бака, к шагам раздатчиков каши, они приближают долгожданный момент... Голод, голод...

Были у нас и "телеграфисты", но этих в камере любили. Они заботились о пище духовной. Благодаря им наша изоляция была пробита, хотя только в одном направлении. Они поставляли заключенным информацию о далеком большом мире.

На одной из площадей Вильнюса, на порядочном расстоянии от Лукишек, был установлен прибор, сопровождающий советскую власть во всех районах, во всех городах, во всех поселках и во всех деревнях необъятной страны: громкоговоритель. Громкоговоритель не переставал с утра до вечера (а иногда – с утра до утра) изрыгать речи, музыку, статьи, песни, новости, объявления, призывы, резолюции и директивы. Разумеется, не к "врагам народа" обращался послушный рупор партии и правительства. Обращаясь к верным гражданам, заслужившим место под солнцем, громкоговоритель заверял их, что они живут хорошо и счастливо. Но в деятельности громкоговорителя имеются внутренние противоречия, и

с одним из них не смогла справиться даже советская наука с помощью НКВД. Порою ветер несет слова в нежелательном направлении – к тюремным стенам. И тогда "враги народа" слышат не только дозволенные речи, но и совершенно запретные для них вещи: новости о событиях в мире.

Наши телеграфисты зависели от милости ветра. Когда ветер дул в нашем направлении, сообщения (в обрывочном, правда, виде) попадали в информационный центр – две камеры на верхнем этаже, окна которых выходили в сторону далекой площади: если дул "плохой" ветер, не помогали никакие усилия – ни мертвая тишина в камере, ни изощренный слух. День без сведений – пустой день! Но когда сообщения поступали, они передавались по вертикали и по горизонтали, во все общие камеры: по вертикали сообщения передавались по водопроводной трубе, а по горизонтали – через стены.

Техника передачи сообщений очень проста. Одно постукивание означает точку, два следующих друг за другом постукивания – тире. Все буквы алфавита зашифрованы с помощью этих точек и тире, т. е. своеобразной азбуки Морзе. В любой тюрьме имеется такой телеграф и даже в тюрьме НКВД.

Наши отважные телеграфисты работали в условиях постоянной опасности. Правда, в момент получения или передачи сведений у двери, во избежание неожиданностей, стояли на стреме двое заключенных, но это не всегда помогало. Иногда дежурный офицер надевал резиновые тапочки, бесшумно подкрадывался к двери, быстро открывал ее и ловил телегра-

фиста – если не в момент передачи сообщения, то в критическом месте – у стены. Иногда сообщения начинали поступать в момент, когда в камере находился начальник тюрьмы или дежурный офицер. В такие минуты мы ничего не слышали, но "воспитатель" не был глухим. Неожиданные налеты начальства заканчивались обычно карцером.

По внутреннему телеграфу мы не только узнавали о положении на фронтах, но и знакомились с обитателями соседних камер. О прибытии каждого нового заключенного узнавали сперва соседние камеры, а потом – все остальные. Энкаведисты продолжали спрашивать: "Кто на "А"? и "Кто на "Б"?, и мы отвечали им с затаенным удовлетворением. Их конспирация не помогала: мы знали имена своих товарищей от "А" до "Я". Энкаведисты тоже знали, что мы это знаем, но изменить ничего не могли. Предупреждения начальника тюрьмы не помогли: угрозы не запугали, карцер не остановил. Жажда новостей часто напоминает голод или даже страсть заядлого курильщика: она сильнее страха перед наказанием.

С помощью нашего телеграфа я узнал, что в соседнюю камеру прибыл мой друг Меир Шескин. Я еще не обучился азбуке точек и тире, и Бернштейн, один из лучших телеграфистов, принял сообщение и отстучал ответ. Шескину тоже кто-то помогал "говорить". Он спросил о Зеэве Жаботинском. Я ответил не сразу. Лгать нельзя, сказать правду – трудно. Но Шескин настойчиво спрашивал: "Ты меня понял? Как поживает Жаботинский?" Выхода не

было. Я попросил Бернштейна отстучать в ответ сообщение о смерти Жаботинского и добавил, что, по-моему, мы выполним завет основоположника Бейтара, если не впадем в отчаяние. Некоторое время соседняя камера молчала. Затем послышались точки и тире. Шескин подтвердил получение сообщения, сказал, что прочитает заупокойную молитву "Кадиш". Снова охватили меня печаль и скорбь; глаза были сухие, но в сердце — слезы.

Как-то я рассказал Бернштейну, что намерен дать жене развод. Оказалось, что и он одно время собирался поступить так же. Но не сделал этого и теперь ни за что не сделает. Во-первых, из-за маленькой дочери, а во-вторых, — чтобы не заронить в жене сомнение в возможности встречи после долгой разлуки. Второй аргумент, — сказал Бернштейн, — следует обдумать и мне. Во всяком случае, не стоит торопиться со столь серьезным шагом. Его слова звучали убедительно. Он пережил тяжелую внутреннюю борьбу, похожую на ту, что происходила во мне. Я не мог не признать справедливость его слов и обещал снова взвесить свое решение.

Тем временем я "заработал" семь дней карцера. Рассказал соседу анекдот, и тюремщик, энкаведист-еврей, решил безо всяких на то оснований, что шутка направлена против него. Он пожаловался начальнику тюрьмы и потребовал наказать оскорбителя. Начальник, не проведя никакого расследования, приговорил меня к семи суткам карцера. Такой приговор не обжалуешь.

Известие об этом удивило не только меня, но и всех, слышавших безобидную шутку, и вызвало недовольство всех обитателей камеры, в большинстве своем слушателей моих различных "курсов". Жестокость начальника тюрьмы задевала элементарное чувство справедливости. Кто-то предложил объявить голодовку: в общей камере солидарность заключенных помогла преодолеть национальную отчужденность. Я поблагодарил товарищей, но попросил их не взваливать на себя ненужные дополнительные страдания. "Семь суток пробегут, и мы снова приступим к учебе. Ничего, надо и в карцере побывать. Тюрьма – так тюрьма".

Семь дней и семь ночей миновали. Карцер меня здорово ослабил, но в нем я многое понял. Узнал, что такое удушливая жара днем и стягивающий кости холод ночью, вонь и грязь в клетке без окна, бетонный пол, который служит постелью для заключенного и бульваром для мышей. Я узнал, что есть место похуже тюремной камеры (позже я узнал, что бывают места похуже карцера). Счастье – одно, у страдания – много ступеней. Возвращаясь, "возносясь" в камеру, я был самым счастливым из заключенных.

В камере все же была объявлена голодовка. Не из-за меня. Не из-за страшной тесноты, не из-за отсутствия связи с семьями и не из-за слишком коротких и редких прогулок в закрытом дворе, длившихся не более десяти минут. Даже не голод был причиной голодовки. По правде говоря, мы даже не объявили голодовку; она была объявлена внутри нас; она вышла из наших ноздрей.

В Пятикнижии сказано: "И даст вам Господь мясо, и будете есть. Не один день будете есть, не два дня, не пять дней, не десять дней и не двадцать дней; но целый месяц, пока не выйдет оно из ноздрей ваших и не сделается для вас отвратительным". Мы все думали, что слова "выйдет из ноздрей" – всего лишь метафора. В Лукишках мы поняли, что это точное описание физического ощущения.

НКВД не кормил нас ни манной небесной, ни мясом. Мы получали кашу. С момента моего ареста в питании узников Лукишек произошли изменения. Вначале каша была основным блюдом, но не единственным: мы получали различные "супы". Но в месяцы, о которых я рассказываю, каша безраздельно властвовала в котле. Каша. Только каша. Каждый день каша. Написано: "Не один день будете есть, не два дня, не пять дней и не двадцать дней, но целый месяц". Там не сказано: "Более месяца, более двух месяцев будете есть одну только кашу". И вышла каша из ноздрей наших. В буквальном смысле. И сделалась каша для нас отвратительной. Больше терпеть мы не могли и объявили голодовку.

В советской тюрьме в голодовки не играют. Это оружие заключенных, известное всем тюрьмам мира, почти полностью отнято у узников НКВД. Постоянный голод поднимает в глазах заключенного ценность пищи и лишает его душевных сил, необходимых для объявления голодовки. Нет сомнения, что изоляция, двойная изоляция, играет и здесь решающую роль. Заключенный в любой иной стране, объявляющий голодовку, знает, что она может

не повлиять немедленно на тюремную администрацию, но непременно окажет влияние на общественность, которая из газет или других публикаций узнает о событиях, происходящих в тюрьме. Узники Сиона в британских концлагерях в Эрец Исраэль и Африке не раз пользовались этим оружием, чтобы отстоять права заключенных. Им часто пользуются коммунисты в странах, в которых компартии запрещены.

Но положение узника НКВД особое: у него почти нет надежды, что отказ от пищи обеспокоит его тюремщиков; он знает, что его голодовка останется строгой тайной. Голод – это оружие в руках НКВД, но не в руках его узников.

Но несмотря на это, наша голодовка закончилась победой. Нас не наказали за бунтарское заявление: "Больше каши не возьмем", а через несколько дней, в течение которых мы довольствовались хлебом и "кофе", впервые за много месяцев нам принесли суп из гнилых капустных листьев. Тюремная администрация поняла, что наше требование не было контрреволюционным, вроде требования газет или писем от родных. У НКВД богатый опыт вождения людей по тюремной пустыне, и там хорошо понимают значение слов "пока не выйдет из ноздрей". Это не "талмудизм", а реальность. В советской тюрьме даже гнилая капуста может показаться вкуснейшим блюдом и помочь "блуждающим в пустыне" вернуться к ... каше. После голодовки мы в Лукишках два раза в неделю ели суп из капусты, а пять раз – кашу. Мы победили.

12. СУД

Так мы и жили — с кашей и капустой, с телефонистами и телеграфистами, с лекциями и курсами, с беседами и спорами, с вещами, полученными из дома, — до первого апреля. В этот день НКВД подготовил нам "сюрприз".

Вечером 31 марта 1941 года у наших телеграфистов прибавилось работы. Телеграммы шли сверху вниз, вдоль и поперек. Обитатели камер заволновались. Что это? Что происходит? Многие отказывались верить своим ушам. Но телеграммы продолжали поступать; их содержание повторялось; и не было уже сомнений в их правдивости. Они состояли всего из двух слов: имя заключенного и срок заключения. В большинстве случаев повторялись слова "восемь лет", "пять лет", очень редко — "три года".

— Когда прошли судебные процессы? — запросили мы центр через водопроводную трубу.

— Не было процессов, это приговор, — последовал ответ.

Обмен телеграммами пришлось вскоре прекратить: сообщения о приговорах пришлись на вечер, и сигнал отбоя прервал телеграфную службу. Мы лежали на тюфяках, старались осмыслить послед-

ние новости. Каждый помнил обещание следователя: "Будет суд". Где же суд? Те, кого еще не назвали, тешили себя надеждой: "Мы, – говорили они себе, – наверняка предстанем перед судом и, во всяком случае, не получим восемь лет"... Но и перешептываться нельзя было слишком долго. Охранник открыл дверь и потребовал прекратить разговоры.

Назавтра мы избавились ото всех сомнений.

– Все в коридор, идти по одному, соблюдать порядок! – услышали мы утром первого апреля.

Мы в точности выполнили приказ. Нас отвели по знакомым коридорам к знакомому месту – площадке, через которую обычно мы проходили на допросы. Там стоял маленький столик, за которым сидели два человека в гражданском. Заключенные по очереди подходили к столику; остальные стояли поодаль и видели, как каждый заключенный получает небольшую бумажку, на которой расписывается.

Подошла моя очередь.

– Имя, фамилия? – спросил человек, сидевший ближе к середине столика.

Я назвался.

Человек, сидевший у края столика, быстро, словно пересчитывая денежные купюры, перелистал толстую пачку, нашел нужную бумажку и передал своему товарищу. Тот зачитал мне текст, навсегда врезавшийся в память:

"Особое совещание при Народном Комиссариате внутренних дел постановило, что Менахем Вольфович Бегин является социально-опасным элементом,

и приговорило его к заключению в исправительно-трудовом лагере сроком на восемь лет".

— Подпишитесь, пожалуйста, — вежливо сказал один из сидевших за столиком.

— Замечательная первоапрельская шутка, — сказал я, беря ручку. Энкаведист внимательно на меня посмотрел, но ничего не сказал.

Я поставил свою подпись и вернулся в камеру.

Вскоре в камеру вернулись все подписавшиеся. Поднялся шум. Спрашивали друг друга: "Сколько? Сколько?" Некоторые показывали ладонь с растопыренными пальцами: "Пятерка!" Получившие восемь лет просто называли цифру. Ни один в нашей камере не получил "обидный" детский срок — три года. Вора приговорили к пяти годам.

Мы обсуждали сроки, как школьники обсуждают оценки в табеле. Страха никто не проявлял. Некоторые, правда, отпускали колючие замечания: "Вот тебе и советское правосудие, — говорили они. — Суда не было, судьи тебя не видели, не выслушали, не дали сказать ни слова в свою защиту, а так, оптом, дали кому пять, кому восемь лет". В этот вечер, однако, в нашей комнате царило какое-то странное веселье. Просто ни на кого не произвели впечатление сроки, полученные от Особого совещания. Получившие "пятерки" не радовались удаче, а чувствовали себя учениками, получившими низкую оценку. Они говорили: "Пять лет или восемь лет — какая разница? Либо выйдем все вместе, либо не продержимся больше нескольких лет". С этим соглашались все. Приговоренные знали, что где-то далеко за стенами Лу-

кишек ведется разрушительная война; никто не мог предсказать, как война отразится на наших судьбах, но каждый в душе надеялся, что она каким-нибудь образом собьет засовы с дверей наших камер. Были, разумеется, и пессимисты, но они оказались в меньшинстве, и их голос почти не был слышен. Телеграф стучал беспрерывно. Восемь лет, пять лет, восемь...

Мне вспомнились слова двух следователей. Старый чекист, майор НКВД сказал:

– Суд! Дай ему трибуну!

А его младший товарищ, мой следователь, сказал:

– Я говорил, что будет суд, – значит, будет!

Оба они говорили правду, правду НКВД.

Это и есть суд.

Это одно из достижений народа, пошедшего на баррикады во имя справедливости и свободы: горы маленьких бумажек, пачки квитанций, продукция скрытой фабрики по производству приговоров. Нет судей и нет обвиняемых. Нет свидетелей и нет защитников. Нет защиты и нет обжалования, человек исчезает и ошибки быть не может; Особое совещание постановляет: восемь лет, пять лет, три года, восемь лет...

Через несколько дней после получения приговоров охранники забрали, невзирая на наши протесты, плевательницы, стоявшие в двух углах камеры. Телеграф принес из соседней камеры сухое сообщение: "Сегодня забрали плевательницы".

13. ПРОЩАНИЕ

Посылки с одеждой продолжали поступать. Я знал, что отправляет их жена и что ей помогают друзья. Денег у жены не было. Друзья помогали ей, мне и, как мне стало известно позднее, моим старым родителям. Пусть нынешние скептики не спрашивают цинично: "А бывает ли настоящая дружба?"

Судя по посылкам, родные готовили нас в дальнюю дорогу, в холодные края. За тюремными решетками встречали весну, а мы получали теплое белье, зимнюю одежду, валенки, перчатки. Радовались богатству и переживали, что родные все знают.

В одной передаче — находка! На нескольких носовых платках я обнаружил вензеля из трех латинских букв: OLA. Радости не было предела, но я не переставал удивляться. Почему OLA? С какой целью жена заменила "А", первую букву своего сокращенного имени, на "О"? Опасно посылать платки с именем? Но ведь OLA тоже имя. Мне самому загадку решить не удалось, помог Бернштейн. Однажды он бросился ко мне с криком, напоминавшим знаменитое "Эврика!" "Знаю, — кричал он. — Надо читать OLA', а не O'LA, и все становится ясно. Она עולה — едет в Эрец Исраэль".

Все стало на свои места.

Добрый Бернштейн, несколько дней ломавший голову над моей загадкой, добавил:

– Видишь? Хорошо, что не торопился с разводом. Она едет с верой, что вы еще встретитесь.

Я не знал тогда, какие "бои" шли между моей женой и друзьями, пока им не удалось убедить ее, что оставаться нельзя, что в Вильнюсе она будет очень далеко от меня, что помочь мне она сможет только из Эрец Исраэль, и поэтому она обязана ехать.

По вине НКВД я расстался с женой и по его же вине не успел отправить развод; благодаря друзьям и дружбе мы могли впоследствии смеяться над этим несостоявшимся разводом.

Через несколько дней камеру начали расформировывать. Заключенных выводили с вещами в другие камеры (об этом нас предупредил тюремный телеграф). Среди них были Бернштейн и Лифшиц. В минуту прощания рухнули все перегородки, мы смотрели друг другу в глаза, прощаясь без слов, только взглядом: "Навсегда или встретимся еще?"

Вместо уведенных заключенных появились другие, и среди них Меир Шескин. С ним мы отпраздновали в камере Песах. Провели "седер" – если и не по всем правилам, то по возможностям в условиях лукишской тюрьмы. Вместо вина пили "кофе" производства НКВД. "Вот скудный хлеб... Каждый, кто голоден, пусть войдет и ест...". Нет, ради Бога, не входите к нам, не ешьте с нами. Молитва перерастала в требование: "Вскоре племя, Тобою

насажденное, введи в Сион с торжеством, как освобожденных... На будущий год – в Иерусалиме!"

Сразу после праздника Песах телеграфная служба сообщила одно слово: "Котлас". Источника слухов никто не знал, но слово "Котлас" ворвалось в тюрьму и переносилось из камеры в камеру, от одного заключенного к другому. По слухам выходило, что мы поедем в Котлас на "перевоспитание" на пять, на восемь лет. Никто из нас не знал, где находится этот загадочный Котлас. Кто слышал про Котлас?

– Если память мне не изменяет, – сказал старый полковник, – Котлас – это железнодорожная станция за Вяткой.

– Вятка – это по-нынешнему Киров, – сказал один из заключенных.

– Не знаю, как ее теперь называют, – ответил на замечание старик, – но помню, что в Вятку ссылали революционеров. Кроме того, цари и князья часто ездили в те края на охоту.

На улице весна, в камере жарко, но у меня мороз пробежал по коже, и сделалось жутко холодно.

Вскоре мы изменили свое мнение о Котласе и почти влюбились в места, куда князья на охоту ездили. Изо дня в день мы засыпали охранников градом вопросов:

– До каких пор будем сидеть здесь? Когда поедем в Котлас?

– Поедете, поедете, – утешали нас охранники.

Наше отношение к Котласу и ИТЛ (исправительно-трудовые лагеря) сложилось в основном благодаря парикмахерам.

Два парикмахера, один из них еврей, изредка приходили к нам в камеру. Обитатели общей камеры, верившие в еврейскую солидарность, просили нас поговорить с соплеменником. Я уже хорошо знал, что такое солидарность двух евреев – сотрудника НКВД с узником, – и даже не заговорил с ним. Бернштейн попробовал, но без особого успеха. Заключенным-христианам тоже не удалось разговорить "своего" парикмахера. Парикмахеры словно воды в рот набрали. В Лукишках нам открылось существование новой касты: парикмахеры-молчальники!

Но после Песах парикмахеры вдруг заговорили. И еще как заговорили! Заключенным-христианам не пришлось взывать к христианской солидарности, а заключенным-евреям – к еврейской. Парикмахеры говорили, не делая различий между заключенными. Они рассказывали о жизни в исправительно-трудовых лагерях:

– Там вы заживете! Без камер, почти на свободе. Работа? Конечно, будет работа, ну и что? Разве плохо поработать немного? Сколько часов в день там работают? Как и во всем Советском Союзе – восемь часов в день. Какая работа? Да самая разная. Каждый будет работать по специальности. За работу получают плату. День отдыха? Какой вопрос! Один день в неделю выходной. Газеты? Книги? В каждом лагере есть библиотека, и можно брать книги, журналы и газеты – сколько душе угодно. Кроме библиотеки, в каждом лагере – кино. Как часто бывают сеансы? Точно не знаем, но довольно часто. Сможете посмотреть много фильмов. Час-

то лагеря посещают передвижные театры. Как с питанием? Будете хорошо работать — получите хорошее питание. В каждом лагере имеется буфет, где можно купить вкусные вещи.

Эту картину нарисовали парикмахеры. В деталях ее подтвердили и подрисовали охранники, отвечая на наши вопросы во время вывода на общую оправку. Дежурного офицера однажды спросили, действительно ли в лагерях есть библиотеки. "А как же? — ответил он с покоряющей вежливостью. — И библиотеки, и кино. В лагере вам будет лучше".

Однажды в мае нам заявили, что мы сможем повидать родных. "Это, — открыто сказал дежурный офицер, — будет прощальным свиданием перед отправкой в трудовые лагеря. Заполните в анкетах пункты: имя приглашаемого родственника и адрес. Вам разрешается пригласить одного родственника".

Я пригласил жену. Она, правда, написала "ола́", но, может быть, еще не уехала?

Дни в Лукишках, особенно в общей камере, пробегали быстро. С утра и до вечера мы были заняты делами. Беседовали, учились, играли, рассказывали анекдоты, принимали и передавали сообщения по телеграфу, спорили, думали, молились, а главное — ждали. Один день походил на другой, но мы не переставали ждать. Ждали чего-то необычного, ждали каждодневных событий. В тюрьме и обед — событие, и вынос параши — событие. Наши потребности были очень примитивны, но это не уменьшало ожидания, достигавшего предела у телефонистов. В тюрьме дни тянутся вовсе не так медленно,

как это представляют себе свободные люди. Почти незаметно пробежали первые полгода после ареста, но после заполнения коротенькой анкеты – приглашения близких – потянулись длинные, очень длинные дни. Все другие ожидания испарились, осталось одно-единственное. Мы считали часы и минуты.

Наконец начались свидания. Одним из последних к решетке, разделявшей приемную комнату, повели меня. Рядом со мной стоял охранник-еврей, из-за которого я получил семь суток карцера, а по ту сторону решетки улыбалась мне ... Поля Дейхс.

Я знал эту девушку по работе в вильнюсском Бейтаре. Она немного напомнила мне жену. Хотя, возможно, это мне только показалось у тюремной решетки. Она пришла вместо жены, по приглашению, отправленному Ализе Бегин.

– Вы можете говорить по-русски или по-польски, – сказал мой "приятель"-охранник.

Мы говорили по-польски.

– Все в порядке, – скороговоркой выпалила Полинка. – Тетя Алла вместе с дядей Шимшоном. Я уже получила от нее письмо.

Я промолчал. Все понятно: "дядя Шимшон" – это д-р Шимшон Юничман, который возглавлял Бейтар в Эрец Исраэль и занимался нашим переездом. Жена уже в Эрец Исраэль.

– Ты слышал? Тетя Алла находится вместе с... – начала Полинка повторять свой рассказ.

– Я понял, понял, что еще?

– Были письма от родителей. Они здоровы. не беспокойся. Им помогают.

Снова я промолчал.

— Братья тоже здоровы. Все здоровы. Они тоже с тетей Аллой.

Я понял. У меня всего один брат. "Братья" — значит, друзья. Они тоже в Эрец Исразль.

— Слышишь? Братья вместе с тетей Аллой, — повторила Полинка.

— Спасибо, спасибо, что еще?

— Да, тебе привет от тети, — до сих пор она говорила по-польски. — Игерет б'савон*, — кончила она на иврите.

Я тоже перешел на иврит.

— Как ты поживаешь, как дядя Йосеф, как все? Я имел в виду Йосефа Глазмана.

— Все здоровы и шлют тебе привет. Не беспокойся, — ответила девушка на иврите.

— Я сказал, разговаривать можно только по-русски или по-польски, — неожиданно вмешался мой "приятель". — Вы на каком языке говорили?

— А что? — спросил я. — Уж и по-еврейски говорить нельзя?

— Вы говорили не по-еврейски, я бы понял. Это другой язык.

— Мы говорили по-еврейски, — упрямо ответил я. — Я еврей и имею право говорить на своем языке.

— Не умничайте, говорите по-польски или по-русски, иначе прекращу свидание.

Мы перешли на польский. Полинка, видно, снова испугалась, что я ее не понял, и повторила:

* Письмо в мыле. (ивр.)

– Привет от тети (по-польски), письмо в мыле (на иврите).

– Спасибо, спасибо, я понял.

– Пора кончать, – заметил охранник.

– Еще несколько слов, – попросил я. – Мы уже кончаем.

– Что написать тете? – спросила Полинка.

– Напиши, что я горжусь ею и всеми вами.

– Они гордятся тобой, – тихо сказала Полинка.

– Напиши, что я здоров и непременно вернусь.

– Напишу, – ответила Полинка.

– Все, хватит, – сказал охранник.

Он взял у Полинки посылку и выложил все ее содержимое на стол. Здесь было теплое белье, еда, два бруска мыла. Пищевые продукты охранник вернул Полинке. Мне не повезло. Арестованным, побывавшим на свидании до меня, разрешили в виде исключения получить на этот раз еду. Но когда пришла моя очередь, в городе вспыхнула эпидемия тифа, и пищевые передачи строго-настрого запретили.

Полинка положила все деликатесы (даже шоколад прислали друзья!) в мешочек. На глазах у нее заблестели слезы. Замечательная девушка! Какое душевное спокойствие проявила она, играя роль моей жены и сообщая о письме в мыле! Она находилась в самой пасти НКВД и рисковала многим. Все это она проделала без внешних признаков волнения, но, когда пришлось положить обратно в мешочек деликатесы, оиа не сдержалась и заплакала.

– Хотя бы сахар разрешите оставить! – попросила она охранника.

— Запрещено, — ответил он. — Я сказал, что нельзя, и хватит.

Он проверил белье, потом разрезал мыло. Мы с Полинкой стояли по обе стороны решетки и смотрели. Тюремщик разнял половинки мыла и передал их мне вместе с бельем.

— До свидания, Полинка!

— До свидания, будь здоров.

— Я вернусь.

— Знаю, будь здоров.

Я мечтал снова встретить отважную девушку, сестру по духу, пожать ей руку и поблагодарить за все. Но не сбылось. Полинка, сестра Шломо Ицхаки, погибшего в Эрец Исраэль от руки предателя, оказалась достойной своего брата. В годы немецкой оккупации она вступила в подпольную борьбу и стала одной из ближайших помощниц Йосефа Глазмана в вильнюсском гетто. Рука немецких убийц настигла и Полинку. Она была бойцом и погибла, как героиня.

14. ПЛЕВАТЕЛЬНИЦЫ

Я вернулся в камеру с четырьмя половинками мыла, в одной из которых была записка. Но в какой из них? Я открыл секрет своему преданному другу Шескину и бывшему сержанту польской армии. Мы отошли в угол и образовали небольшой кружок. Сержант – мастер на все руки – внимательно осмотрел каждую половинку. Он хотел найти записку без вскрытия: кусок мыла в тюрьме был большой ценностью. Но на глаз заметить ничего не удалось. Выхода не было, и решили вскрыть. Сержант достал алюминиевую ложку с остро заточенной ручкой и принялся пилить мыло. В первой половинке записки не оказалось. Во второй тоже ничего не нашли. И в третьей... Нет, подождите секундочку, когда один за другим были срезаны почти все слои третьей половинки – что-то показалось. Еще одно движение, и сержант, ликуя, вручил мне маленький, сложенный в несколько раз, листочек. Письмо найдено. Друзья положили его в край бруска. Обманули-таки энкаведистов.

"Письмо в мыле" отправил мой друг Йосеф Глазман. Оно подтвердило все радостные вести. Но была в письме и еще одна новость: "Друзья в Эрец Исраэль и Америке добиваются вашего освобождения. Имеются неплохие шансы на успех". Мы поверили.

Снова расформировали нашу камеру: увели одних, привели других. Ушел Шескин, среди новых был всегда веселый Давид Кароль.

Кароль был мужчина средних лет, но густая сеть морщин сильно старила его. Несмотря на это, все звали его Котькой. Он сохранил веселость молодости и даже в тюрьме смеялся, как беззаботный мальчишка. Но у доброго Кароля было немало забот: дома остались две женщины — старая, давно овдовевшая мать и молодая жена, вышедшая замуж за Котьку за несколько месяцев до его ареста. Но Котька, как и все мы, требовал: "Даешь Котлас! Даешь Котлас!"

К концу мая в Лукишках стало еще многолюднее: камеры "распухли" и продолжали наполняться арестованными. Понятие "нет места" для НКВД не существует — для арестованных место всегда найдется. Посуды новым заключенным не хватило, и миски стали общими. Неприятно, но можно привыкнуть. Зато впереди — утешение: Котлас. Там будем есть за накрытыми столами. Там будем работать и дышать воздухом. Там совсем иная жизнь...

Нас начало часто навещать тюремное начальство — офицеры НКВД. Один писал и уходил, другой тут же входил и принимался писать. "Когда поедем?" — спрашивали мы. "Нет состава, — ответил один из них. — Но скоро поедете". Что такое "состав"? Знатоки русского в камере толковали это слово поразному. "Не хватает кадров", — говорили одни; "Нет, речь идет о вагонах", — говорили другие. Все удивлялись: "Служащих нет? Вагонов нет?"

Но вот наступил долгожданный день.

На пороге камеры стояли офицеры НКВД, и один из них зачитывал наши имена. Мы отвечали, как солдаты: "Здесь".

– Соберите все вещи в один узел. Миски и ложки оставьте. Когда будете готовы, мы вас позовем.

– Прибыл состав? – спросил один заключенный.

– Да, поедете в трудовой лагерь.

– Куда? – спросил заключенный.

– Этого я не знаю, это знает начальник транспорта.

Дверь закрылась. Камера напоминала теперь вокзал. Шум и гам. У заключенных приподнятое настроение. Едем, подальше от этой грязи и вони. Бывший сержант помог мне сложить вещи. Оба мы помогли старому полковнику. Он бормочет: "На охоту едем, на охоту".

– Готовы? – спросил охранник через некоторое время.

– Готовы, готовы, – ответили мы хором.

С узлами за спиной мы вышли на тюремный двор. Там уже ожидали заключенные из других камер. Нам приказали ждать. Мы терпеливо ждали, но время шло, и вместе с ним прошел час "обеда". Тюремные служащие носились по двору. "Сколько еще будем ждать?" – начали раздаваться недовольные крики.

К вечеру пришел офицер НКВД и сообщил, что произошли изменения в графике, и нам придется на некоторое время вернуться внутрь, но не в наши камеры, а в другие, временные. Мы были голодны, проклинали все на свете, но пришлось идти во временные камеры.

Временные камеры оказались в подвале. От карцера они отличались маленьким окошком, едва выглядывавшим верхней частью во двор. В них не было ни коек, ни тюфяков. Четыре стены и бетонный пол — вот вся обстановка. По величине она была не больше той, в которой я сидел во время допросов, но здесь было двадцать человек. Для узника НКВД место всегда найдется.

Наступило утро. Открыли дверь. Два охранника пересчитали стоявших, сидевших и полулежавших заключенных. Охранники не делают замечаний. Если в камере невозможно лежать, в ней лежать разрешается — даже посреди дня. Произошла ошибка в счете. Неудивительно. Здесь с трудом справился бы профессор математики, что же сказать о советском охраннике. Наконец нас удалось пересчитать. Охранник записывает. "Скоро получите хлеб", — заявляет он. Все к лучшему.

В окошко нам просунули нарезанный порциями хлеб. "Из чего будем пить кофе? — спросили мы хором. — Нам велели оставить чашки и ложки наверху. Из чего будем пить?" — "Получите другие чашки", — ответил охранник и закрыл окошко.

Через некоторое время окошко снова отворилось.

— Получайте, — крикнул охранник.

— Что это? — спросили заключенные, стоявшие у дверей.

— Вы же сами просили чашки для кофе...

— Что?

Это были ... плевательницы.

Бак со скрипом подкатили к двери камеры. "Кофе", – объявил охранник в окошко. Мы отказались.

– Из плевательниц пить не будем, – заявили мы хором.

– Другой посуды нет.

– Из плевательниц пить не будем. Мы люди. Позовите дежурного офицера. Не будем пить.

Окошко закрылось. Котел потащили к соседней камере.

Мы ели хлеб всухомятку. Время завтрака прошло. Близилось время обеда. Снова открылась форточка.

– Что случилось? – спросил дежурный офицер.

– Нам дали плевательницы! – закричали мы. – Как можно из них есть?

Дежурный офицер приказал открыть дверь.

– Не говорите хором, – сказал он, стоя на пороге. – Пусть говорит один из вас.

– Гражданин офицер, – сказал один из заключенных, – посмотрите, какую посуду нам выдали. Это плевательницы. Мы сами в них плевали и теперь должны из них есть? Стоит на них только посмотреть, как кишки переворачиваются и рвать хочется. Как из этого есть? Ведь мы люди.

– Мы их почистили, – спокойно сказал дежурный офицер. – Они прошли полную дезинфекцию. Они совершенно чистые.

– Посмотрите, гражданин офицер, – сказал другой заключенный. – Посмотрите на эту плевательницу. Эмаль откололась, вот дыры. Какая дезинфекция может ее почистить?

— Была дезинфекция, — ответил офицер. — Она чистая.

— Не будем есть из плевательниц, — кричали взбудораженные заключенные. — Требуем начальника тюрьмы. Не будем есть.

— Послушайте, — сказал дежурный офицер, — начальник тюрьмы вам не поможет. Я понимаю, что условия здесь трудные, но вам осталось пробыть здесь не более одних-двух суток. Потом поедете в трудовой лагерь. Там условия совершенно иные. Но что мы можем поделать? Заключенных много, и посуды для всех не хватает.

— Зачем же вы арестовываете столько людей? — спросил один заключенный.

Дежурный офицер не ответил. Он вышел из камеры, оставив нас наедине с плевательницами.

Пришло время обеда. Котел подкатили к двери нашей камеры. "Обед!" — прокричал охранник.

— Из плевательниц есть не будем.

Форточка закрылась.

Охранник приказал собрать плевательницы и передать ему в форточку. Через некоторое время в камеру вошел дежурный офицер. Он потрудился лично принести ... новенькие плевательницы.

— Видите, — сказал он, — плевательницы совершенно новые. Прямо со склада. Ими никто не пользовался. Они чистые. Можете спокойно есть.

Мы не могли. Плевательницы остаются плевательницами, и человек не может есть из посуды, предназначенной для плевков. Мы не могли. Отправились спать без ужина.

Только назавтра охранник бросил в окошко несколько мисок и чашек.

– Ешьте группами, по очереди, – крикнул он. – Порядок установите сами.

Котел тащили по коридору туда и обратно, от камеры к камере, пока все группы не поели в установленном порядке. Посуду не мыли. Во временной камере не было воды, не было ведра. Миски и чашки с остатками "супа" и "кофе" переходили из рук в руки.

Таково отношение НКВД к человеку. Но человек отличается от животного, хотя... В местах, куда князья ездили охотиться, я узнал, что по окончании срока "перевоспитания" некоторые люди готовы есть и из плевательниц.

В один июньский день нас вывели на огромный тюремный плац. Заключенных – около двух тысяч человек – разделили на группы. У столика в центре двора сидели высшие чины местного НКВД. Сотни солдат-энкаведистов переходили от одной группы к другой, тщательно обыскивая личные вещи заключенных. Нас раздели догола. К этому мы привыкли: во время каждого ночного обыска нам приказывали раздеться. Но было и новшество: нам приказали несколько раз присесть и наклониться. Энкаведисты искали всюду. У одного заключенного в нашей группе был понос. Проклятия обыскивавшего его солдата могли разбудить мертвого. Мы улыбались.

— Давай, давай, давай поскорее, — слышались крики то в одном, то в другом конце плаца. Трудно было избавиться от навязчивой мысли: тут невольничий рынок.

Около пятнадцати человек с узлами впихнули в небольшую тюремную машину. Заключенный, которого я видел впервые, кричал: "Я задыхаюсь!" Он преувеличивал. Нелегко задушить человека. Машина тронулась с места и остановилась у ворот тюрьмы. Ворота распахнулись, и машина с живым грузом скользнула в шумную улицу. Поехали. Куда? В Котлас?

Внутренний голос твердил мне: "Это начало пути в ... Эрец Исраэль".

15. В БЕЛЫЕ НОЧИ

На товарной станции нас ждал длинный состав. Товарные вагоны были оборудованы под тюремные камеры: на маленьких окошках решетки, к стенам приколочены нары в два этажа, посреди вагона — выводная труба, заменяющая парашу. За погрузкой следила вооруженная охрана НКВД и специальные служебные собаки. Нас погрузили в тюрьму на колесах.

"Сорок человек, восемь лошадей", — шутили заключенные, бывшие военными на воле, но нам почему-то очень трудно было разместить себя и свои узлы. Попробовали пересчитать друг друга, и оказалось, что нас около семидесяти человек. Особенно тесно было на верхних нарах: внизу очень душно, и заключенные предпочитали верхний этаж. Вряд ли чекисты сумели бы втиснуть в вагон четырнадцать лошадей, но заключенные — не кони.

Обитую железом дверь вагона заперли на засов. Мы закричали, что нечем дышать. Охрана ответила, что в два окошка поступает достаточно воздуха. Дверь открывать запрещено. Запрещено — и все. Вскоре обитатели верхнего этажа сообщили, что солдаты убрались, и не с кем разговаривать. Близился вечер. Одолевали голод и усталость. То ли с усталос-

ти, то ли по выработавшейся в Лукишках привычке ложиться по сигналу в установленное время, мы заснули. Когда я проснулся, вагонзак катил по рельсам полным ходом.

Много дней и ночей провели мы в пути. По целым дням простаивали на полустанках. Утром и вечером мы удостаивались прикосновения стражей революции: пересчитывали нас дважды в день и, не притронувшись к каждому, не были уверены в правильности счета. Еду давали один раз в день. Таким образом, трижды в сутки отодвигалась дверь вагона, внося немного свежего воздуха.

Пищу разносили заключенные, меченные особыми ленточками. Еда была – хлеб и селедка. За весь многодневный путь ни разу не получили мы горячей еды. Жажду утоляли некипяченой водой.

Однообразная соленая пища вызывала сильную жажду. Крики: "Воды, воды!" – слышались постоянно то в одном, то в другом конце поезда, причем не только во время стоянок, но и в пути. Поили нас из одного общего ведра по очереди – НКВД относится к заключенным, как к лошадям.

Однажды мы сделали потрясающее открытие. Поезд остановился в лесистой местности. По обе стороны железнодорожного полотна было много луж, покрытых зеленой плесенью, и оттуда доносилось отчетливое кваканье лягушек. Мы закричали (вернее, продолжали кричать): "Воды, воды!", потом увидели, как заключенные с ленточками подошли к краю лужи и зачерпнули воду для нас. Тюрьма на колесах ахнула от неожиданности: "Этим бу-

дете поить нас?" Ответ энкаведистов был спокойным, сдержанным и "разумным": "До станции далеко, вы просили воды, эта вода довольно чистая, а другой у нас нет. Не хотите пить, не пейте, но чистую воду сможете получить только завтра".

Мы пили.

На одном полустанке рядом с нашим поездом остановилась другая передвижная тюрьма. Со своего места у зарешеченного окошка наверху я увидел пару женских глаз и седые волосы. Большие черные глаза печально смотрели из-за решетки на меня. Мы не сказали друг другу ни слова, но глаза спрашивали: "Куда? Зачем?" Ес поезд тронулся, и почти в тот же момент двинулся с места наш. Шум колес, аккомпанемент, сопровождающий любой внутренний монолог, еще много дней и ночей выстукивал в моих ушах вопрос: "Куда? Зачем? Зачем? Куда? Куда? Зачем?"

Поезда-близнецы часто проносились мимо нас. "Боже милостивый, — говорили мы друг другу, — сколько у них составов!" Когда-то подобное массовое передвижение называли переселением народов или работорговлей; в эпоху "прогресса" это называют организованным передвижением в места "социального перевоспитания". Но в пути мы часто встречали и совсем другие поезда. Из-за них нам нередко приходилось простаивать много часов, иногда даже целые сутки. Один поезд проносился за другим, и все в направлении, противоположном нашему, — на запад.

"Что это? Что это?" — спрашивали мы друг друга при виде переполненных солдатами и груженных боеприпасами поездов. Неужели объявлена всеобщая мобилизация? Может быть, мы являемся свидетелями прямой подготовки к войне? Врезалось в память заявление телеграфного агентства СССР, принятое и переданное нам по беспроволочному телеграфу Лукишек. ТАСС опровергало сообщения иностранной прессы о концентрации германских войск на советской границе. Перемещение германских войск, утверждало ТАСС, является обычной передислокацией, вызванной окончанием войны в Греции. Не опровергали ли встречные военные поезда официальное заявление ТАСС?

Мы продолжали обмениваться догадками и предположениями, пока в запертый вагон бурей не ворвалась новость: война! Как удалось этой новости проникнуть в изолированный от внешнего мира тюремный поезд? Может быть, охранник шепнул заключенному — раздатчику пищи? А может быть, машинист, часто обстукивавший колеса длинным молотком, кому-то что-то сказал? Источник сообщения установить не удалось, но стало ясно, что вот уже несколько дней мы откатываемся назад от германских армий, наступающих, несмотря на "кровный союз" и вопреки заявлению ТАСС.

Известие о вторжении германских войск вызвало в нашем вагоне не только волнение, но и ожесточенные споры. В вагоне были поляки, литовцы и один еврей. Взаимную ненависть литовцев и поляков (в основном — из-за Вильнюса) даже тюрьма

не в состоянии была смягчить; и в Лукишках, и в поезде между ними происходили беспрерывные столкновения. Но поляки и литовцы были едины в мнении, что их товарищам, оставшимся в Лукишках, повезло, а сами они упустили подходящий момент. "Ах, – вздыхали мои соседи по вагону, – если бы нас еще несколько недель продержали в Вильнюсе!" Больше всех сокрушались литовцы: они не воевали против немцев и ждали их прихода.

Известие о войне между Россией и Германией, находившейся в состоянии войны против Англии – союзницы Польши, естественным образом воодушевило поляков. Один из них (не из нашего вагона) зашел слишком далеко в выражении вспыхнувшей самоуверенности. Его за что-то посадили в карцер (да, и в тюрьме на колесах имеется карцер), и оттуда доносились его крики:

– Я польский офицер, кого вы держите в карцере?

И мы услышали ответ солдата НКВД:

– Польский офицер? Польских офицеров мы сажаем в уборные!

Оба они предвосхитили подписание советско-польского договора.

Однажды поезд сильно притормозил, и по обе стороны полотна мы увидели окопы и людей в лохмотьях. Вдруг послышалась знакомая речь:

– Из Польши?

– Да, да, – ответили шепотом поляки. Нам строго-настрого запрещалось разговаривать с людьми не из поезда, и нарушение запрета наказывалось карцером.

— Вильнюс уже у них, и они идут, как нож сквозь масло, — успел прошептать поляк из вырытой траншеи.

Взволнованные происходящими событиями, голодные более чем когда-либо в Лукишках, грязные более чем когда-либо в жизни, мы прибыли в Котлас. За все время пути охранники и раздатчики пищи отказывались сообщать названия станций, которые мы проезжали. Но прибытие в Котлас от нас не скрыли, и это дало нам еще большее основание считать, что Котлас — конечная станция и здесь мы начнем "новую жизнь".

Мы ошиблись. Из всех арестантов в Котласе сняли одного — старого полковника. В Котласе он и умер.

Мы продолжали путь. Поезд трясло, как корабль в бурю. Такой тряски до сих пор не было, многие заболели морской болезнью. Все были обессилены. Прекратились разговоры. Один вопрос висел над вагонзаком: "Куда? Куда они нас везут?"

Однажды вечером мы готовились ко сну. Не знали, разумеется, который час, но приученные распорядком в Лукишках, мы чувствовали, что близится время сна. Почему-то не темнело. В запертом вагоне никогда не было светло, но заключенные, лежавшие у окошек, обратили внимание на странное явление: снаружи было светло и даже сумерек не чувствовалось. Мы продолжали дремать, так и не пожелав друг другу спокойной ночи. Через некоторое время я проснулся и посмотрел в окошко: светло, светло как днем. Какой длинный день! Снова задремал.

Когда проснулся, снаружи все еще было светло. Какой длинный день!!

В тот же день (или назавтра утром) загадка разрешилась. Один из раздатчиков спокойно сказал:

– Мы прибыли в полосу белых ночей.

– Так далеко забрались на север? – спросили мы с удивлением и страхом.

– Да, – ответил он. – Мы на севере.

На севере! Летом солнце восходит здесь в момент заката. Какой вид! Какая красота! Какая жуткая красота!..

– Вот это парадокс! – сказал один из заключенных. – Черные дни и белые ночи...

Через несколько удлинившихся вдвое дней пути нам наконец приказали выйти из вагонов. Стояли в открытом поле. Кругом болота. Видны редкие кустарники и низкорослые деревья. Станция называлась Кожва. Над деревянным бараком, служившим чем-то вроде вокзала, надпись: "Народный Комиссариат Внутренних дел". Значит, железная дорога к северу от Котласа принадлежит НКВД, а не министерству путей сообщения.

С узлами за спиной, в сопровождении вооруженного конвоя и скалящих белые клыки собак, мы немного отошли от железнодорожного полотна и по приказу присели отдохнуть. Глаза тут же принялись блуждать в поисках знакомых и со всех сторон послышались слова приветствия. Я увидел Шехтера, Шескина и Кароля. Несмотря на строгий запрет, мы начали, по примеру многих других заключенных, медленно продвигаться навстречу друг другу. В этих

неописуемых условиях мне удалось обменяться несколькими словами с доктором Шехтером. Конвойный угрожающим тоном приказал нам вернуться на свои места, но, прощаясь – тогда я не знал, что мы расстаемся на целых девять лет, – я успел сообщить Шехтеру содержание письма в мыле и сказать, что мы увидимся в Эрец Исраэль.

Резкий свист прорезал воздух. Нам приказали построиться в колонну по четыре. Офицер энкаведист произнес традиционное короткое предупреждение: "Вы идете в пересыльный лагерь. Соблюдайте порядок в рядах. Шаг вправо или шаг влево рассматривается как побег, и конвой имеет право стрелять без предупреждения!"

Длинная колонна тронулась. Мы тащили узлы и едва волочили ноги. Долог путь в пересыльный лагерь. Месили грязь по размокшей дороге, порой перебирались по мосткам шириной в бревно, не всегда могли мы соблюдать порядок в шеренгах и рядах. Хуже всего приходилось крайним. Они помнили предупреждение "шаг вправо, шаг влево" и при чуть заметном расстройстве шеренги на повороте извилистой дороги кричали: "Я вынужден отойти вправо, я вынужден отойти влево".

Время от времени я оглядывался. За мной двигались ряды кандидатов на "перевоспитание". Масса народу. Все согнулись под тяжестью узлов, у многих от усталости подкашивались ноги. Кругом винтовки со штыками, взведены курки. Остервенело лают собаки. "Шаг вправо, шаг влево...". В шеренге врачи, инженеры, адвокаты, профессора, рабо-

чие, судьи, офицеры. Такой парад в двадцатом веке! Парад рабов.

Со мной заговорил солдат конвоя.

– Сколько тебе дали? – спросил он.

– Восемь лет.

– За что?

– Пятьдесят восьмая.

– Плохо дело.

– Нам в Вильнюсе сказали, что, если будем работать хорошо, выйдем досрочно.

– Отсюда не выходят.

– Что значит "не выходят"? Следователи сказали, что, если будем хорошо работать, выйдем даже раньше времени.

Солдат расхохотался:

– Следователи сказали... Они остались в Вильнюсе, а ты останешься здесь. Слушай, что я тебе говорю: отсюда не выходят.

– Не разговаривай с ним, – сказал мой друг, бывший сержант, помогавший мне тащить тюк. – Еще посмотрим, выйдем отсюда или нет.

Я послушал его, но в душе проклинал лукишских парикмахеров.

После долгих часов ходьбы показался пересыльный лагерь. Он был окружен проволочной оградой и сторожевыми вышками. Огромный лагерь. Заключенных разделили на группы по сто человек. Вместе со мной оказались Шескин и Кароль; Шехтера отправили в другой лагерь. В больших деревянных бараках мы увидели знакомые дощатые нары в несколько этажей. Впервые за много недель мы получили

горячую кашу и помылись. Небольшими группами нас стали вызывать в контору.

В конторе работали заключенные. Они записывали личные данные только что прибывших.

Писарь, к которому я подошел, спросил:

– Когда тебя арестовали?

– 20 сентября 1940 года.

– Сколько получил?

– Восемь лет.

Записывая, он пробормотал:

– День ареста 20 сентября 1940 года, день освобождения 20 сентября 1948 года.

Значит, срок "перевоспитания" в НКВД начинается не со дня вынесения приговора, а с момента ареста, следствие тоже относится к "перевоспитанию". Но долго размышлять о щедрости Наркомата внутренних дел я не мог – в ушах звенела другая дата: 20 сентября 1948 года. День освобождения – 20 сентября 1948 года... Это немало, – сказал я себе. – И освобождение не так близко.

– За что осужден? – продолжал спрашивать писарь-заключенный.

– Точно не знаю. Следователь сказал, что меня обвиняют по 58 статье.

– Что тебе сказали при вынесении приговора?

– Сказали, что я "социально-опасный элемент".

Он записал: СОЭ и, подавая мне карточку для подписи, шепотом сказал:

– Никогда не упоминай 58 статью. Если спросят, скажи, что в приговоре написано СОЭ.

Это был совет узника НКВД зеленому новичку, и опытный заключенный знал, что говорил.

А белые ночи все продолжались. В пересыльном лагере мы отдыхали недолго. Через несколько лишенных темноты суток нас снова выстроили в ряды. Снова предупредил: "Шаг вправо, шаг влево" – и через болота много часов вели к берегу большой реки.

– Как называется река? – спросили мы заключенных, встретивших нас на берегу градом русской брани.

– Что? Вы не знаете? – кричали русские заключенные, сопровождая крики приветственным матом. – Это Печора, и вы едете в Печорлаг.

Нас погрузили вместе с длинными рельсами на баржу, привязанную к небольшому буксиру.

– Пароход старый, еще с царских времен, – заметил один из русских заключенных, показывая на него рукой, – но тянет старик хорошо...

– Да, – сказал один поляк. – У вас ничего нет. У вас самый большой начальник ест и одевается хуже, чем ел и одевался у нас обыкновенный сторож до войны.

В ответ раздался поток ругательств, какого нам слышать еще не приходилось. В отличие от традиционной терминологии, известной еще со времен молодости нашего старого пароходика, здесь вместо матери то и дело упоминалась божья мать.

– Мы прогрессируем, – сказал мне старый капитан. – Вот одно из достижений революции.

— Но в его реакции, — ответил я потрясенному другу, — есть что-то характерное. Он сам заключенный, жертва режима, но посмотри, как он, с пеной у рта, защищает этот режим от нападок чужака.

К вечеру баржа тронулась с места. Я сидел у самого борта и с интересом изучал широкую зеленоватую реку. Белая ночь открылась нам во всей своей красе. Вот вспыхнул огонь на горизонте: это солнце садится в Печору. Но тут же солнце снова восходит и озаряет Печору ночным светом. Ко мне подошел солдат охраны. Он посмотрел на меня, потом перевел взгляд на тюк с вещами и спросил:

— Что у тебя в мешке?

— Одежда, белье, сапоги, — ответил я.

— Сапоги кожаные? — спросил солдат.

— Да, кожаные.

— Отнимут, — с улыбкой пообещал солдат.

— Кто отнимет? — удивленно спросил я.

— Увидишь, все отнимут.

— Все отнимут? — продолжал я спрашивать. — Но ведь это мои личные вещи. Если бы взяли часть и раздали заключенным, у которых ничего нет, я бы еще понял. Но все отнять?

Один из польских заключенных вмешался и сердито сказал:

— Ты что, уже отказываешься от части своих вещей?

Солдат продолжал улыбаться.

— Не надо ссориться, отнимут все, все у вас отнимут. Увидите.

Кого он имел в виду, говоря "отнимут", мы не знали, пока не прибыли в лагерь.

Но прежде я побывал еще в одном пересыльном, где, к радости своей, встретился с друзьями – Шескиным и Каролем. Нас повели на первый медосмотр. Мы сидели возле барака, где проводился осмотр. Шескин или Кароль (точно не помню) вступили в разговор с одним из писарей. Тот спросил, могут ли они достать сорочки с воротниками. Услышав положительный ответ, он сообщил, что за шесть сорочек он готов перевести их для "дополнительного обследования" в госпиталь, и там "будет хорошо". Узнав, что нас трое, он согласился за три сорочки сверх того направить в больницу и меня.

Я не был болен и не рвался в больницу, но не хотелось отплатить неблагодарностью товарищам и расстаться с ними. Поэтому я внес свою лепту в совместную взятку и в группе других заключенных — больных и владельцев сорочек — отправился в госпиталь.

В больнице я заболел по-настоящему и провел здесь около двух недель. Но за этот короткий срок мне удалось узнать о Советском Союзе больше, чем можно узнать из самых толстых книг. Мне открылся неведомый мир, который пришлось изучать не по книгам.

16. СОВЕТСКИЕ ЗАКЛЮЧЕННЫЕ РАССКАЗЫВАЮТ

Деревянные бараки больнички почти что вросли в землю: точно их придавило холодом и сугробами. Старожилы с улыбкой говорили новичкам: "Вы спрашиваете про климат? Климат чудесный. Двенадцать месяцев зима, остальное – лето". Последняя фраза – строка из лагерной песни. На самом деле зимние холода продолжаются "всего" девять месяцев, и морозы доходят до шестидесяти градусов.

Логику строительства НКВД иногда трудно понять. Стены – это два ряда досок с промежутком между ними, куда насыпают опилки, чтобы создать какую-то теплоизоляцию. Но баню для больных поставили на холме в километре от больницы. Туда больные шли в нижнем белье, укутавшись в тонкое одеяло. Новички спрашивали: "Зимой тоже так водят в баню?" – "Конечно, а вы что думали, в метро вас повезут?" – "Но как можно, – упорствовали новички, – гонять больных в лютый мороз полуголыми, да еще назад после горячей бани? Ведь этак сразу подхватишь воспаление легких". Следовал универсальный, лагерный ответ: "Привыкнете, а не привыкнете – подохнете".

Чтобы привыкнуть, нужно время. Первая ночь в лагерной больнице показалась мне настоящим кошмаром. Это был не "белый" и не "черный", а "красный" кошмар. Меня атаковала армия клопов, дружными рядами вышедшая из опилок. Контрмеры не помогали. Численность врага росла на глазах. Я пытался маневрировать, меняя положение, но это не помогло. Вражеские полчища не оставляли меня в покое. Никто из новичков не сомкнул глаз в эту ночь. Другое дело — старожилы: они спали мертвым сном. Привыкли.

В конце концов привыкли и мы, но проблема клопов продолжала нас мучить. "Неужели нельзя от них избавиться?" — спрашивали мы. — "Можно, — отвечали нам с философским спокойствием. — Даже очень просто. Надо сжечь барак". Постоянные обитатели лагерной больницы могли сосать нас сколько угодно: на их стороне был закон об охране государственного имущества.

На следующее утро я познакомился с несколькими больными. Один из них удивил меня вопросом:

— Вы глава Бейтара в Польше?

— Да, — ответил я. — А откуда вы знаете?

— Я тоже бейтарист, — взволнованно ответил больной. — Моя фамилия Мармельштейн. Я видел вашу фамилию на рюкзаке, но не был уверен, вы это или ваш однофамилец. Теперь я уверен. Горе мне...

Он заплакал, но взял себя в руки и сказал, что рад нашей встрече. Во многих местах мы побывали вместе и всегда помогали друг другу.

Остальные заключенные, с которыми я бегло познакомился, были советские граждане. Прошло несколько дней, и мы привыкли друг к другу, общность судьбы сблизила нас. Я встретил "врача – отравителя душ", "шпионку", "промышленного диверсанта", "сельского вредителя" и заместителя редактора газеты "Правда". Вот ими же рассказанные истории.

Классический треугольник

Я был счастливым человеком, – начал свое повествование врач. – И мне все кажется, что пережитое – только кошмарный сон. Я жил в Москве. Работал хирургом. Работу любил и делал успешную карьеру. С будущей своей женой познакомился еще в университете, и нас связала пылкая любовь. У нас двое детей. В семейной жизни я тоже был счастлив. Каждый день благодарил Бога за все хорошее, что есть у меня в жизни. И вдруг все рухнуло. Жена полюбила другого. Он оказался офицером НКВД. Она требовала, чтобы я с ней официально развелся. Я не хотел. Любил ее. И о детях заботился. Надеялся, что каприз пройдет. Ведь нас связывала юношеская любовь. Но жена настаивала на своем. В другое время она, возможно, оставила бы меня и перешла жить к любовнику. Но в наши дни так делать нельзя. Это считается чуть ли не контрреволюционным поступком. Тот, кто бросает свою семью, помогает создать атмосферу недовольства в Советском Сою-

зе. Поэтому жена не ушла из дому и продолжала настаивать на разводе, а я продолжал надеяться на перемену.

В один "прекрасный" день меня арестовали. Следователь сказал, что я обвиняюсь в серьезных преступлениях против советской власти, и потребовал, чтобы я признался. Если признаюсь, наказание, возможно, будет не очень строгим. Я ничего не понимал. Сказал, что всю жизнь занимался медициной и с политикой ничего общего не имею. Следователь предложил не притворяться. Ему и так все известно. Он знает, что я, пользуясь положением врача, склонял больных к вере в Бога. Он, мол, знает, что перед операцией я осенял крестным знамением пациента и не забывал перекреститься сам. Теперь, — спросил он, — ты готов признаться в своих преступлениях? Я ответил, что не делал ничего подобного. "Нас тебе не удастся провести, — закричал следователь. — Все это ты сам рассказал жене, а теперь отрицаешь?"

Следо́ватель устроил мне очную ставку с женой. Она утверждала, будто я крестился над больными и сам ей об этом рассказывал. Меня приговорили к десяти годам за контрреволюционную деятельность. После ареста жена могла без труда развестись со мной. Патриотический долг даже обязывал ее развестись с врагом народа, и она наверняка удостоилась похвал за преданность советской родине. Теперь я здесь, а она — с ним. Не знаю, что с детьми. Возможно, жена рассказывает им, что отец их был предателем и преступником. Я молюсь за себя и молю Бога простить ее. По правде говоря, я дей-

ствительно верю в Бога, и никто этой веры у меня не отнимет. Но над больными я никогда не крестился. Жена лгала. Да простит ей Господь...

ПШ

Муж, – рассказала женщина, похожая на гречанку, – был директор крупного завода в Москве. Он намного старше меня. Я его вторая жена. Меня он очень любил и готов был сделать все, чтобы я была счастлива. Видите шубку? – спросила она Кароля. – Она истрепалась. И не диво: я ведь таскала ее и в тюрьме, и в поезде. А когда он подарил мне ее, она была новенькая. Шубу не просто достать, но он достал. Денег зарабатывал много, да и премии были большие. Шубу он купил мне к годовщине свадьбы. Как я радовалась!

И вдруг все рухнуло. Мужа арестовали. Я не знала, за что. Не могла знать. Муж относился ко мне, как к маленькой девочке, и никогда не рассказывал о своих делах. Я стала бегать из одного учреждения в другое. Всех спрашивала, задавала один и тот же вопрос: за что его арестовали. Никто не хотел объяснить причину. Всюду отвечали: "Арестован – значит, совершил преступление. Если выяснится, что он не виновен, его освободят. У нас зря не сажают".

Однажды меня вызвали в НКВД. Думала, что на этот раз сообщат, за что арестован муж. Следователь сказал: "Нам стало известно, что ваш муж был английским шпионом, и мы хотим, чтобы вы рассказали

все, что знаете о его шпионской деятельности". Я закричала: "Как вы смеете говорить такие вещи о моем муже? Он был директором одного из самых больших заводов Москвы, все свои силы отдавал родине, получил много правительственных наград. Какой же он шпион?" – "Успокойтесь, – сказал следователь. – Нам известно все о вашем муже, ему удалось хорошо замаскироваться, но нам все известно, мы раскрыли его преступную деятельность. Вы его жена. Он вас любил и наверняка рассказывал подробности о своих действиях. Если вы патриот своей советской родины, вы обязаны рассказать нам правду". – "Но я уверена, что мой муж ни в чем не виновен, – продолжала я возмущаться. – Что же я могу вам рассказать?" – "В таком случае вы оказываетесь соучастницей преступлений вашего мужа, – сказал мне следователь. – В камере у вас будет время подумать, не лучше ли рассказать нам всю правду".

Несколько недель я просидела в камере, но меня никто не вызывал. Перевели в другой корпус тюрьмы, в другую камеру. Прошло несколько недель. Наконец меня вызвали на допрос. Проходя мимо соседней камеры, я услышала голос своего мужа. Это было ужасно. Следователь спросил, готова ли я рассказать правду. Я снова ответила, что муж ни в чем не виновен, я тоже не совершила никакого преступления и поэтому прошу освободить нас обоих и позволить нам жить спокойной жизнью. "Ваш муж во всем сознался, – сказал следователь, – а вы продолжаете упорствовать". – "В чем он сознался?" – спросила я со страхом. "Он сознался во мно-

гих преступлениях, но далеко не во всех. Я уверен, что вы все знаете, но не хотите рассказать. Почему вы его покрываете? Где ваша преданность советской родине, сделавшей для вас столько хорошего? Расскажите, расскажите все. Ваш муж рассказал нам о вас". – "Что он рассказал?" – спросила я. "Это правда, что в последнее время вы начали изучать английский язык?" – "Да, – ответила я, – это правда, а что в этом плохого?" – "Что плохого? – вскричал следователь. – А вы знаете, что ваша учительница была профессиональной английской шпионкой, она уже свое получила. А вы учили английский, чтобы стать связной между вашим мужем и британским посольством. Все вы входили в один крупный шпионский центр, но мы его ликвидируем, ликвидируем полностью".

Земля ушла из-под моих ног. Голова закружилась. О чем он говорит? – спросила я себя. – Какой шпионский центр? Что за связь с британским посольством? Что за шпионка? "Это ошибка, гражданин следователь, – сказала я, – ужасная ошибка. Я уверена, что моя учительница не могла сделать ничего дурного. Она пожилая женщина. Немного, правда, старомодная, но очень предана родине. Она давала частные уроки крупным начальникам, муж хорошо ее знал. Она бывала у нас, и муж однажды в шутку попросил ее обучать меня языку, чтобы мне не так скучно было ждать его возвращения с работы. Так получилось, что я стала изучать английский. Я успела взять всего несколько уроков. Потом мужа арестовали, и учительницу я больше не видела. Кля-

нусь вам, гражданин следователь, что на уроках английского ничего другого не было".

Следователь посмеялся надо мной и над моими клятвами. "Нам все известно, — сказал он. — Теперь пойдете в камеру, немного подумаете, и все нам расскажете". На обратном пути мне снова послышался голос мужа. В камере не могла сомкнуть глаз: мне казалось, что муж зовет меня, стонет, просит о помощи. Он был намного старше меня, почти старик. Он был мне вроде отца, и теперь звал на помощь. А чем я могла ему помочь? До сегодняшнего дня не знаю, действительно ли он находился в соседней камере или мне все показалось.

Время шло, и однажды следователь сообщил мне, что муж умер. Я плакала, как девочка. Очень жалела доброго, старого человека. Следователь дал мне немного поплакать. "Успокойтесь, — сказал он. — Ваш муж был шпионом и врагом народа. В любом случае его ждал расстрел. Теперь расскажите нам все. Какие задания шпионского центра вы выполняли".

Следствие длилось еще много времени. Я сказала следователю, что требую суда, на котором сумею доказать свою правоту. "Я верю в советское правосудие", — сказала я. "Для такой, как вы, — ответил следователь, — не нужен никакой суд. Доказательства и без того ясны. Вас будет судить Особое совещание". Я была женой человека, обвиненного в шпионаже, взяла несколько уроков английского языка и за это получила пять лет лагерей. Будь я действительно шпионкой, я бы обрадовалась. Пять лет для шпионки — это смех. Я — ПШ.

— Что значит ПШ? — спросил один из нас.

— Не знаете? — подозревается в шпионаже. Все же в НКВД существует справедливость: меня осудили не за шпионаж, а по подозрению в шпионаже. Посчитались, наверное, с тем, что я не успела изучить английский...

Судьба лагерника

Я инженер-механик, — начал свой рассказ "диверсант". — Занимал на заводе различные административные должности. Был членом партии. Часто получал премии и благодарности за хорошую работу. В 1937 году меня арестовали. Завод не выполнял план, и меня обвинили в саботаже. Мы действительно не выполнили план, но в чем моя вина? Мы не получили вовремя сырья, несколько станков сломалось и, несмотря на все усилия, не удалось достать запчасти. Но объяснения не помогли. Другой инженер заявил на очной ставке, что он предупреждал меня о возможной поломке станков и я ответил, что беспокоиться нечего, заменим старые детали новыми. Это был, по словам следователя, злостный саботаж. Письма, в которых я просил обеспечить нас запчастями, были, по словам следователя, написаны для маскировки моей диверсионной деятельности. Мне дали десять лет. Я отбываю уже четвертый.

— Ах, — сказал "саботажник", — что вы, новенькие, знаете о севере? Что вы знаете про лагерь? Здесь

в больнице, неплохо. Есть кровать, простыня, одеяло. Клопы? К ним привыкают. Днем лежать можете? — Можете. Суп подают к кровати? — Подают. Что еще человеку надо? Вот когда попадете в лагерь, когда выйдете на заре на производство, — поймете, как живется лагернику.

Теперь лето, легкая пора. Верно? Но когда выйдете на работу, поймете, что и летом север не шутит. У нас на севере водятся мошки, маленькие такие, их даже трудно увидеть. Они, проклятые, любят лагерника, очень его любят, проклятые. Они садятся на лицо, на руки, влезают в уши, в ноздри, под кожу. Их миллионы, миллиарды. И они жалят, ох, как они жалят! Нет, это не комары. Комар — приятное насекомое. Мошка — это северная муха, и она сторожит заключенного надежнее любого стрелка, надежнее всех охранников с ружьями. Как? Из нашего лагеря бежал заключенный. Ему стреляли вслед, за ним гнались, искали с помощью собак, и все напрасно. Заключенный исчез. Охранявший его стрелок уже готовился занять его место в лагере. Через три дня беглец вернулся сам. Узнать его было нельзя. Хотели посадить его в карцер, но он клялся, что никогда в жизни не попытается больше бежать. Северные мухи хорошенько его проучили. И вам советую остерегаться мух. Перед выходом на работу обязательно покрывайте чем-нибудь руки и лицо. Иначе будет плохо. И не пытайтесь бежать. Сами же вернетесь.

— Впрочем, — продолжал старожил наставлять новичков, — вы приехали на все готовое. Здесь боль-

ница, кругом лагеря. В одном из них будете работать. Получите нары в бараке. Знаю, что там будете тосковать по тюрьме или по этой больнице, как тоскую я по своим зубам. Но все же у вас будет крыша над головой. Когда я прибыл сюда, здесь не было ни лагерей, ни бараков. Стояла зима. Мороз доходил до сорока, пятидесяти, иногда до шестидесяти градусов. К тому же зимой дни — не дни, как летом ночи — не ночи. Зимой светло всего несколько часов в сутки, в остальное время — непроглядная ночь. Ну и что? Работать можно и ночью. Освещает белый снег.

Мы спали в снегу. Единственную палатку заняли охранники. Сначала нам приказали установить проволочную ограду, потом четыре сторожевые вышки. Лишь после того, как мы своими же руками окружили себя проволочной оградой и на вышки поднялась охрана, нам разрешили строить бараки. Лагерь строился не один день. После двенадцати, четырнадцати, шестнадцати часов работы нам приходилось закапываться глубоко в снег, в наши белоснежные постели. Не каждый мог встать наутро. То того, то другого находили беспробудно спящим. Напрасно стрелки кричали: "Вставай, на работу!", напрасно тормошили его, проклинали, пинали ногами. Порой число заключенных, навек уснувших в снегу, превышало число поднявшихся работать. Но строительство не прекращалось. Прибывали новые заключенные.

Что мы строили? Прокладывали железную дорогу, по которой вы доехали до Кожвы и которую

вы будете тянуть дальше. Вас порастрясло во время езды? Да, она немного кривовата, эта б... Так уж строили. Торопились... и все равно не сумели выполнить план. Однажды, когда я был уже прорабом, на наш участок приехал большой начальник из Москвы. Он кричал: "Партия и правительство поставили перед нами задачу, и мы должны ее выполнить к установленному сроку. Дорога будет открыта, даже если под каждый метр рельсов придется положить человека!" Большой начальник говорил о железной дороге длиной семьсот километров. Теперь подсчитайте, сколько людей надо положить, чтобы вовремя справиться с задачей, поставленной партией и правительством. Не знаю, лежат ли под рельсами семьсот тысяч человек, но сотни тысяч несомненно нашли здесь могилу. К сроку мы не управились, но дорогу все же открыли. Правда, она немного кривовата...

— А про цингу слышали? — инженер открыл рот и продемонстрировал нам свои светлые, почти белые десны и два оставшихся зуба. — Да, — сказал "диверсант", — эти тоже скоро выпадут. Это цинга, и ее на севере не избежать. У вас тоже выпадут зубы, но не думайте, что цинга этим ограничивается. Все тело покрывается язвами, и из них сочится кровь и гной, кровь и гной. Вот! — он засучил штанину, и мы увидели большие черные пятна. — Это еще ничего, я почти вылечился, но в лагере раны появятся снова, и из них будет сочиться гной и кровь. На севере все заключенные болеют цингой, и поэтому она за болезнь не считается. Цинготники тоже работают.

Понос тоже получите. Но учтите, что обычный понос болезнью не считается и только непрекращающийся или кровавый понос дает освобождение от работы и, если посчастливится, направление в больницу. И не думайте, что достаточно заявить про понос. Кто-то обязательно проверит, как часто, и, если заявите, что понос с кровью, кто-то непременно пойдет с вами и проверит, действительно ли с кровью. Да, у нас и на понос установлена норма, и, если не выполнишь ее, отправишься на работу. А про этапы слышали? Окончите работу в вашем лагере — вас отправят в другое место. Могут перевести и до окончания работы. Это называют этапом. На новом месте может оказаться готовый лагерь, а может быть и открытое поле. Как повезет! Этапы проводят зимой и летом, по суше и по морю, на поезде и пешком. Если попадете когда-нибудь на этап пароходом, узнаете, что это такое. Я помню этап, который вышел из нашего лагеря. Заключенных посадили в грузовики. Ехали по замерзшей реке. Дорога отличная, но холод был жуткий. Машины сломались — из-за холода, наверное. Водители-заключенные безуспешно пытались их отремонтировать. То ли замерзшие руки не слушались, то ли поломки были слишком серьезные. С того этапа в лагерь вернулись пешком только стрелки. Начальник был, правда, наказан за растрату рабсилы, но рабсилу, оставшуюся на Печоре, уже не оживишь.

— А про саморубов слышали? Да, эти люди отрубают себе палец, два пальца, иногда всю стопу. Как это делают? По-разному. Некоторые кладут руку

на чурбан, поднимают топор, говорят: "Ха!", и палец повисает в воздухе. Если нет топора, можно выбрать другой способ. Мороз вполне заменит топор. Окунают палец в воду, а потом держат его несколько секунд на воздухе, в шестидесятиградусный мороз. Палец сразу белеет — обморожение третьей степени. Больница, операция, инвалидность.

Для чего это делают? Как может человек хотеть сделаться инвалидом? Поживите в лагере — поймете. По утрам на заре вас разбудит удар о рельс. Дежурный вертухай, вбежав в барак, будет дергать за ноги и орать: "Эй, чего разоспался? Вставай! На работу!" В тех же лохмотьях, которые были на вас ночью, вы выходите из барака. Вас выстраивают на дворе. Пересчитывают. Раз, дважды, трижды, проходит полчаса, час. Потом раздают хлеб. Съедаете его. Сразу съедаете весь хлеб. Потом идете на работу. Ночью возвращаетесь в барак и бросаетесь на деревянные нары. Ой, кости, как болят все кости! Тряпкой снимаете гной с цинготных ран и погружаетесь в тяжелый каменный сон. В четыре часа утра снова подъем, снова "эй, ты". И так каждый день, каждое утро и каждую ночь.

Поживете, поймете, как может человек желать себе увечья. Да, заболеть, не выйти на производство, не вставать, полежать немного, немного полежать. Поймете радость, с которой получают направление в больницу или сангородок. Да, так человек приходит и к членовредительству. В лагере вы встретите людей без пальцев на руках и ногах, без уха или без носа. Это не членовредители. Во время ра-

боты на сильном морозе они отморозились. Это самая обыкновенная производственная травма. Люди, конечно, страдают, но не думайте, что они были так уж несчастны в момент, когда их везли в больницу на операцию. Наоборот, тогда они были счастливы. Нет для лагерника большего счастья, чем болезнь, больница.

И не думайте, что саморубы сами наказывают себя, и этим дело кончается. Им навешивают дополнительный срок: ведь это тоже растрата рабсилы. Но им все равно — из лагеря ведь не выйдешь. "Пусть инвалидность, — говорят они. — Зато жить будем, как люди!"

— Такова судьба лагерника. Разве можно понять это?— закончил инженер.

Я начал понимать. И проклинал лукишских парикмахеров.

Счастливый лагерник

— Спрашиваешь, за что меня арестовали? — медленно заговорил старый крестьянин на верхних нарах. — За диверсию арестовали. Жил я, конечно, в колхозе. Сказали, что мало работаю для колхоза и почти все время провожу на своем участке. Знаешь, советская власть выделила колхозникам участки, которые они могут обрабатывать в свободное время для себя. Урожай с этих участков разрешается продавать на колхозном рынке. Это, конечно, очень хорошо. Но они сказали, что я слишком много работаю на своем

огороде и скоро стану кулаком. Какой из меня кулак? Ну скажи, какой я кулак, если в доме у меня есть нечего? Но они сказали, что я вредитель, и дали десять лет. Теперь я здесь. Не подумайте, что я жалуюсь на советскую власть, Боже упаси, здесь мне хорошо. Дома у меня никогда не было такой удобной, чистой постели. Еда здесь тоже намного лучше колхозной. И подают ее прямо к кровати. Здесь мне хорошо, лучше, чем дома. Я не жалуюсь на советскую власть, Боже упаси, лишь бы разрешили остаться здесь в больнице. Мне тут хорошо.

Рассказывает заместитель редактора "Правды"

Сначала Гарин был настроен враждебно. О себе ничего не рассказывал. Все наши беседы касались в основном войны, антисемитизма, сионизма и коммунизма. Когда я слушал его, мне иногда казалось, что передо мной следователь из Лукишек. Сионизм и антисемитизм, — объяснил мне Гарин, — это две стороны одной медали. Антисемитизм – это расистский, националистический пережиток прошлого, и то же можно сказать про сионизм. Сионисты фактически повторяют утверждения антисемитов и помогают им. Антисемиты говорят: "Евреи – в Палестину", и сионисты вторят им. Что "сионист – агент империализма", было для Гарина аксиомой. Наши беседы превратились в споры, очень бурные споры.

Однажды Гарин отчитал меня за "постыдное унижение" перед антисемитами. Он слышал мои раз-

говоры с поляками и обратил внимание, что мы пользуемся словом "жид". "Жид, — сказал Гарин, — это оскорбительное слово, которое употребляют только антисемиты, и в Советском Союзе оно запрещено. И вот я, сионист, гордящийся якобы своим еврейством, не только позволяю полякам говорить "жид", "жидовский", но и сам в разговоре с ними без зазрения совести произношу это антисемитское ругательство. Разве это не доказательство, — с воодушевлением утверждал Гарин, — что сионизм и антисемитизм — союзники?"

Я как мог объяснил Гарину, что если в России слово "жид" звучит оскорбительно, то в Польше оно является обычным словом и польские антисемиты, желая выказать свое презрение, говорят "еврей". Гарин выслушал меня, но не согласился. "Это талмудизм, — сказал он. — Слово "жид" является антисемитским на всех языках, и вы разрешаете его употреблять и употребляете сами только из-за общности целей антисемитизма и сионизма".

Бурные споры, хотя и на другую тему, были у Гарина с инженером-диверсантом. Инженер сказал, что немцы могут дойти хоть до Печоры, ему терять нечего. Гарин набросился на него со всей силой своего красноречия. Вот смотри, — сказал он. — Я тоже заключенный, тоже страдаю. Но мои личные страдания не лишают меня рассудка. Я желаю победы советской армии. Фашизм представляет смертельную опасность для человечества. Если падет Советский Союз, будут уничтожены все достижения революции. Ты забыл все хорошее, что сделала для тебя родина, и

теперь, в минуту опасности, готов ей изменить? Инженер не хотел продолжать разговор. Видно, испугался. Хотя в лагере заключенные обычно не остерегаются в разговорах (что еще можно им сделать?), но и здесь не вредно помнить: "Язык мой — враг мой". Инженер сказал, что Гарин его неправильно понял, и чуть слышно пробормотал: "Змея, паразит" — два слова, которыми часто пользуются не только лагерники, но и все советские люди.

Как-то в барак прибыла инспекционная комиссия. Инженер сказал, что неожиданный визит вызван анонимкой на женщину-врача, ответственную за наш барак. Врач была заключенная-эстонка, средних лет, высокая, с красивыми чертами лица. Больные говорили, что она благоволит к эстонцам и держит их в больнице якобы для обследования.

Вместе с комиссией приехал начальник лагеря. Он обратился к больным с вопросом, готовы ли они, по собственному желанию, выйти на работу, так как на строительстве острая нехватка рабочих. Ответом было глухое молчание. Начальник ушел. Мы, новички, не могли скрыть своего удивления этим странным призывом. Если мы больны, как можно призывать нас выйти на работу? — спросили мы. Инженер смеялся и извергал ругательства. Еще увидите, чем все кончится, — сказал он.

На другой день после комиссии Гарин рассказал мне о своей жизни.

Не думайте, Менахем Вольфович, что вы первый, с кем я спорю о сионизме и социализме. Глядя на

вас, я вспоминаю дни своей молодости в Одессе. Как мы спорили тогда о сионизме! Знаете, сколько лет мне было, когда я вступил в партию? Я стал большевиком в семнадцать лет.

В гражданскую я служил в Красной гвардии, воевал с белыми. Побывал в плену. Белые меня били, подвергли страшным пыткам, но не сумели вытянуть ни слова. Они грозили расстрелять меня как собаку, и наверняка расстреляли бы, если бы им не пришлось бежать в панике. После войны я занимал высокие посты в компартии Украины. Был молод, много работал, силы и душу отдавал партии. Это было время! Я работал в партии и учился в университете. Потом переехал в Харьков, позже — в Киев. Несколько лет проработал в секретариате компартии Украины, был назначен на пост генерального секретаря ЦК КП Украины. С этой должности меня перевели еще выше: я переехал в Москву и стал заместителем редактора газеты "Правда".

В 1937 году, когда все они с ума сошли, была арестована моя жена. Я вам ничего еще не рассказывал о своей жене? Мы познакомились в университете. Она тоже была членом партии, очень активным. Она нееврейка, но какое это имеет значение? Мы хорошо ладили, у нас родились сын и дочь. Жена помогала мне, я помогал ей. Она занималась наукой, и очень успешно. Преподавала в университете, потом в институте красной профессуры. Это особое учебное заведение для будущих университетских профессоров. Жена добилась больших успехов — стала профессором. В 1937 году ее неожиданно арестовали.

Я не знал, что делать. Надеялся, что жену вскоре освободят. Ведь она была таким преданным членом партии! Меня не трогали, я продолжал работать в "Правде". Однажды меня пригласили в Наркомат внутренних дел. Я ожидал ареста, но ошибся. Офицер НКВД сказал, что ему поручено немедленно доставить меня в кремлевскую больницу, там я встречусь с женой. Я спросил, что случилось. Он ответил, что ему ничего не известно. Он должен отвезти меня в Кремль для встречи с женой.

Жена выглядела очень плохо, но улыбалась и сияла от счастья. Она рассказала, что следователь обвинил ее в троцкизме и требовал признания вины. Жена ни в чем не призналась. Она никогда не была троцкисткой. Следователь пригрозил, что она сгниет в тюрьме. Жена впала в отчаянье и решила покончить с собой, но перед этим написала письмо Сталину, в котором просила его об освобождении и возвращении партбилета, так как она всегда была и остается преданной коммунисткой.

Письмо — бывают же чудеса! — попало прямо к Сталину. Тогда было послано много личных писем Калинину, Сталину, Молотову, Орджоникидзе, Ворошилову, но чаще всего они оставались без ответа. Письмо моей жены дошло до адресата. Сталин распорядился о ее переводе из тюремной больницы в кремлевскую. Лучшие врачи спасли ей жизнь. Сталин приказал вернуть ей партбилет. Прошло несколько дней. Она терпеливо ждала. Из Центрального Комитета поступил запрос, получила ли она билет. Жена ответила отрицательно. Назавтра к ней явился

секретарь орготдела, извинился и вручил партийный билет "по личному распоряжению товариша Сталина".

Вы не можете себе представить, Менахем Вольфович, как счастливы мы были в те дни. Жену арестовали, обвинили в троцкизме — весь наш мир был готов рухнуть, и вот солнце снова засияло для нас. Сталин лично распорядился о полной реабилитации моей жены. Я не преувеличиваю, говоря, что это были самые счастливые дни в нашей жизни.

Жена выписалась из больницы и вернулась к преподаванию. Я работал в газете. Будущее казалось обеспеченным и безоблачным. Кто посмеет тронуть мою жену после всего, что случилось? Но прошло всего несколько месяцев, и ее снова арестовали. Невероятно, но факт: ее арестовали вторично, хотя первый приказ об аресте был отменен самим Сталиным. Это свидетельствует о коренной перемене в организации власти в Советском Союзе, перемене, о которой известно только нам. За границей думают, наверно, что у нас партия до сих пор находится у власти. Так оно и было при Ленине и в первые годы после его смерти. Тогда у коммуниста можно было отобрать партбилет только по решению суда. Даже находясь под арестом, коммунист не терял своих прав. Теперь власть перешла от партии к НКВД. Сразу после ареста у коммуниста отнимают партбилет и лишают всех прав. Партия потеряла власть в Советском Союзе: НКВД заправляет всем, и партией в том числе. Так вот, НКВД снова арестовал мою же-

ну и, конечно, ее письма больше не попадали к Сталину. Я тоже ничем не мог ей помочь.

Через некоторое время взяли и меня. Следователь требовал, чтобы я рассказал ему о своих связях с троцкистским центром. Это было ужасное, беспочвенное обвинение. Вчера, — сказал я следователю, — за день до ареста, в "Правде" была опубликована моя статья "Полным шагом назад к меньшевизму". В этой статье я показывал, что истинный смысл троцкизма заключается в возврате к меньшевизму. И вот сегодня вы обвиняете меня в связях с троцкистским центром? – спросил я уверенным тоном. Следователь засмеялся: "Умным хотите быть, Гарин, а? Для нас нет умных. Нам известно все. Да, мы знаем о вашей вчерашней статье в "Правде" и о всех ваших антитроцкистских статьях. Но кого вы хотите обмануть? Нас? Все эти статьи написаны по заданию троцкистского центра, чтобы суметь лучше замаскироваться в партии и продолжать без помех свою преступную деятельность". Эти фантастические обвинения не имели ничего общего с действительностью. Я говорю это не представителю советской власти, а вам, Менахем Вольфович, в частной беседе на берегу Печоры. Будь я троцкистом, я не стал бы этого отрицать в беседе с вами. Но я говорю вам всю правду. Не было у меня никаких связей с троцкистским центром, и своими статьями я боролся за Центральный Комитет. Верно, что в двадцатых годах, еще до смерти Ленина, я склонялся к линии Троцкого. Тогда велся важный спор внутри партии между Лениным и Троцким. Спор был публичный, от-

крытый. Ленин грозил однажды уходом из-за слишком резкого тона статей Троцкого. Тогда в партии была еще внутренняя демократия. Никто не боялся высказать мнение в пользу Троцкого или Ленина. Почти все студенты поддерживали Троцкого. Это хорошо известно. Многие из моих сокурсников, склонявшихся некогда к идеям Троцкого, еще сегодня работают в ЦК ВКП. Но после университета я не имел ничего общего ни с идеями Троцкого, ни с его последователями. Наоборот, я всеми силами боролся против них. Но кому нужны были мои доказательства? Следователи (у меня было много следователей) требовали, чтобы я рассказал о несуществующих связях и признался в несовершенных преступлениях. Знаете, Менахем Вольфович, сколько времени длилось мое следствие? Считайте сами. Меня арестовали в 1937 году, но всего три месяца назад я покинул Томск, получив извещение о том, что Особое совещание приговорило меня к восьми годам. Почти четыре года шло следствие. Большую часть времени я провел в томской тюрьме, в Сибири. Но до прибытия в Томск меня переводили из одной тюрьмы в другую. Я сидел вместе с крупнейшими руководителями партии, с лучшими военачальниками армии, с заслуженными большевиками, благодаря которым пролетариат вышел на баррикады и победил в гражданской войне. Я видел ужасные вещи и много ужасного испытал сам.

Не думайте, Менахем Вольфович, что среди арестованных в те дни не было настоящих врагов. Наверняка были. С некоторыми из них мне пришлось

встретиться. Они шли на допросы беззаботно и возвращались довольные собой и следователем. В камере они открыто занимались враждебной агитацией. Они говорили: "Да, мы называем имена и считаем, что так должно быть. Пусть и другие посидят. Чем больше партийцев попадет в тюрьму, тем легче будет победить партию. Чем больше назовем имен, тем лучше для нас".

Я уверен, Менахем Вольфович, что тысячи людей, верные коммунисты, были уничтожены из-за сознательных вредителей, вовлекших ни в чем не повинных людей в этот водоворот. А следователи требовали одного: "Давай показания! – признайся, расскажи о связях, назови имена других троцкистов... Кто выступал против Центрального Комитета?"

Возможно, эта направленная диверсия привела в конечном итоге к ликвидации и самих следователей. Говорю вам, Менахем Вольфович: в том году, в 1937-м, они просто с ума посходили. Вот, например, арестованных допрашивал очень жестокий следователь. Требуя полного признания, он избивал арестованных, бранил их последними словами, но буквально на следующий день мог и сам оказаться в камере в качестве арестованного. Теперь он возвращался с допросов с кровоподтеками, от него требовали признания о связях с троцкистским центром, заявления, что вся его прежняя деятельность против троцкистов была маскировкой. Иногда требовали признать, что по поручению диверсионного центра он арестовал многих преданных и вер-

ных членов партии — чтобы подорвать и ослабить партию. Проходит совсем немного времени, и в камеру попадает следователь первого следователя. Теперь от него требуют признания в тех же преступлениях, в которых он обвинял свою жертву. Говорю вам, могло показаться, что мы живем в сумасшедшем доме. И мы себя спрашивали: "Как далеко все зайдет? Когда кончится это великое сумасшествие?"

Четыре года я переходил от одного следователя к другому. Самым страшным был следователь томской тюрьмы, прославившийся особой жестокостью. Ему поручались трудные задания. Он специализировался на "ломке упрямцев" и открыто хвастал, что ни один заключенный не устоял еще перед его методом. Я уже тогда был болен, дважды пытался покончить с собой, пытался вскрыть себе вены. Но у нас заключенному не дают так просто умереть. Мой "коварный замысел" был раскрыт, прежде чем из вен вытекло достаточно крови. В результате я заболел тяжелым сердечным заболеванием, у меня постоянно была высокая температура.

В таком состоянии я поступил к следователю. Он не "беседовал" со мной, как другие. Спросил, готов ли я дать показания, и, услышав, что я сказал все и добавить ничего не могу, схватил ножку стула и принялся бить меня по голове, плечам, по всему телу. Наносимые изо всех сил удары он сопровождал ритмичными выкриками: "Даешь показания или нет? Даешь показания или нет?" Инстинктивно я прикрыл голову руками, но вдруг почувство-

вал боль в сердце. Я прикрыл руками грудь и умолял следователя не бить по сердцу, но он не обратил на это никакого внимания и продолжал бить — по сердцу. После той ночи я снова пытался покончить с собой, но и на этот раз неудачно. И вот я здесь, Менахем Вольфович, на берегу Печоры. Суда не было. После четырех лет следствия мне сообщили, что я приговорен в административном порядке к восьми годам исправительно-трудовых лагерей. Завтра, Менахем Вольфович, вместе выйдем на работу.

В тот день, когда Гарин излил свою душу, врач зачитала список больных, которых решено отправить в лагерь. Мы с Гариным были в списке. Врач сказала Гарину, что она требовала оставить его в больнице, так как у него больное сердце и постоянно повышенная температура, но члены комиссии не согласились. "Кого вы держите в больнице? — спросил ее начальник лагеря. — Вы отдаете себе отчет, какую ответственность берете на себя?"

В деле Гарина были записаны четыре буквы: КРТД, что означает: контрреволюционная троцкистская деятельность. Это преступление, страшнее которого в Советском Союзе нет.

Когда в тот же день мы с Гариным вышли из барака, возле нас остановился рослый урка, улыбнулся и сказал:

— Ой, жиды, жиды, что с вами будет? Гитлер вас бьет, здесь вас держат в лагерях. Жаль мне вас, жиды, всюду вас бьют, что с вами будет, жиды, что с вами будет?

Бывший заместитель редактора "Правды", услышав слово "жид", низко опустил голову...

После этого он рассказал мне о своей жизни.

17. В СОПРОВОЖДЕНИИ ОРКЕСТРА

— Ребята, — обратился к нам восторженным голосом начальник лагеря, низкорослый полный человек в военной гимнастерке, — вы в нашем лагере новенькие и в первый раз выходите на работу. Помните, что вы работаете на благо советской родины. Там, вдали от нас, бушует страшная война, кровь смешивается с грязью. Вы находитесь далеко от фронта и должны быть благодарны тем, кто защищает вас от фашистских людоедов. Поэтому вы должны отдавать работе все силы, выполнять и перевыполнять норму и тем помогать фронту. Сегодня у вас в руках заступы, но завтра и вам, возможно, вручат винтовки. За работу! Вперед! Ура!

Заключенные слушали речь начальника, расположившись группами на холме, с которого видны были оба берега Печоры. Внизу, вдоль левого берега тянулось железнодорожное полотно с товарными вагонами. На причале у берега стояли грузовые баржи. Начальник лагеря показал рукой на вагоны и баржи.

— Партия и правительство, — сказал он, — поручили нам разгрузить баржи и загрузить вагоны досрочно.

Среди заключенных было много русских, поляков, литовцев, латышей, эстонцев, румын (из Бессарабии) и евреев. Это привело к внутреннему делению на группы — по языку. Но существовало официальное деление по более важному принципу: на политических и уголовников.

Патриотический призыв толстого начальника лагеря был обращен ко всем заключенным, но только уголовники ответили криками "ура!" и побежали вниз, к реке. Политические подбежали к баржам, и первый день работы на строительстве железной дороги Печора–Воркута "по заданию партии и правительства" начался.

Еще до спуска в трюм я неожиданно услышал звуки музыки. Все, как по команде, посмотрели в сторону холма. Нет, это не ошибка. На холме духовой оркестр играл песни во славу освобожденного советского труда.

В баржах были шпалы. В России, как известно, рельсовая колея шире, чем в других странах. Соответственно длиннее и шпалы. Заключенный должен был взвалить на плечи не менее двух шпал. Кто брал больше, объявлялся кандидатом в ударники.

Со шпалами на плечах мы спускались по узкой доске с баржи и поднимались по крутому склону берега к вагонам — около трехсот метров. После нескольких часов работы я почувствовал в плечах жгучую боль, кожа потрескалась, появились ссадины. Все новички испытывали то же самое. Уголовники потешались над нами. "Паны, белоручки, — кричали они. — Не умеете работать, посмотрите на

нас". Они действительно умели работать: на плечах у них были подушки из ваты и тряпок.

— Перекур! — закричал вдруг один уголовник. Работа остановилась. Несколько заключенных достали из карманов обрывки газет и махорку, скрутили цигарки. По выражению их лиц можно было понять, что они наслаждаются не менее любителей гаванских сигар. Самодельные сигареты переходили от одного к другому. Одному курильщику разрешалось не более трех-четырех затяжек.

— Кончен перекур! — закричал бригадир. — Давай работать!

— Бригадир — змея проклятая, — громко прошипели несколько голосов.

Бригадир не обиделся. Работа возобновилась. Мы снова спускались в трюм и поднимались на берег с железными шпалами на плечах.

— Перекур! — закричал опять один из уголовников.

— Вы же только что курили! — взмолился бригадир. — Работать надо.

— Не шипи, змея, — ответили хором уголовники. — Сам поработай немного, паразит.

Несмотря на частые перекуры, вагон постепенно наполняется железными шпалами, а оркестр продолжает играть марш труда.

С холма медленно спускается тощая кляча с телегой. Время обеда.

Немногие приберегли кусок хлеба из утренней выдачи. Большинство довольствуется жидким супом из рыбы. Заключенные из Лукишек пьют суп и вздыхают: "Там мы ели..."

После обеда оркестр исчезает, но появляются тучи мошкары, жужжат новую песню: о славной крови голодного заключенного. Они жужжат и жалят, пьют кровь и жужжат. Спастись от них невозможно. И снова смеются уголовники над "белоручками". Они бывалые зэки, эти уголовники. На лицах у них маски из марли или ветоши, на руках — так называемые рукавицы. Мы, зеленые новички, становимся легкой добычей мельчайших насекомых. Инженер говорил нам, но мы не обратили должного внимания на его слова, думали: перед комарами как-нибудь выстоим.

Прошло четырнадцать часов, как мы поднялись с нар, и тринадцать часов, как наши "друзья" уголовники ответили криками "ура!" на призыв толстого начальника. Рабочий день кончился. Мы выстроились в ряды по пяти человек. Нас пересчитали.

- Предупреждаю: шаг влево, шаг вправо рассматривается как побег, конвой стреляет без предупреждения.

Уголовники шепотом матерятся. Удивительно, как это зеленая вода Печоры не краснеет от таких ругательств?

У ворот лагеря повальный обыск.

Мы железо весь день таскали, — кричат уголовники. — Что ищете? Шпалы?

Во дворе перекличка. Ошибка в счете. Пересчитать заново. Снова не сходится. А мы стоим — усталые, голодные. Ноги подкашиваются, плечи болят. Стоим. Нас должен сойтись.

Наконец число сходится. Мы свободны. Ждем ужина, порции баланды, вкус которой вызывает тоску по каше, "выходившей из ноздрей".

Вдруг крик:

– Эй, бригадир, паразит, накормил уже своих людей?

Всего сутки мы в лагере и уже превратились из людей, которые едят, в людей, которых надо кормить, – в рабсилу Советского Союза.

Советский Союз любит (может быть, из-за склонности к "талмудизму"?) сокращения. Рабсила – это сокращение слов рабочая сила, но слово "раб" имеет и самостоятельное значение. Языковеды НКВД вряд ли обратили на это внимание.

Бригадир накормил свою рабсилу, и я забрался на нары с мыслями о словах "раб" и "рабсила". В ушах продолжал звенеть вопрос: "Накормил своих людей?"

Чтобы понять, как приводится в действие рабсила Советского Союза, необходимо разобраться в основных понятиях и должностях, существующих в исправительно-трудовых лагерях:

БРИГАДА – группа каторжников из 20-30 человек.

БРИГАДИР – начальник группы, ответственный за работу.

ПРОРАБ – производитель работ, ответственный за работу нескольких бригад.

НАРЯДЧИК – распределяет работу.

НОРМА – количество работы, которую заключенный должен выполнить в смену.

НОРМИРОВЩИК – ведет учет выполнения норм.

КОТЕЛ – норма питания; зависит от производительности труда заключенного. В нашем лагере было четыре котла. Заключенный, выполнявший норму на тридцать или меньше процентов, получал штрафной котел: двести граммов хлеба и баланду один раз в день; первый котел получал заключенный, выполнявший норму на 30–60 процентов: четыреста граммов хлеба и баланду два раза; выполнение нормы на 60–80 процентов – второй котел: пятьсот граммов хлеба, ложка каши вдобавок к двум порциям баланды. Выполнявшие норму на 80–100 процентов получали семьсот граммов хлеба, суп улучшенного качества, кашу, иногда сушеный картофель или галеты – толстые и твердые как камень, но довольно вкусные бисквиты. Тот, кто перевыполнял норму, получал двенадцатый котел: 800–900 граммов хлеба и супы со всевозможными добавками, вкуса которых я так и не узнал. Никто не рассказывал нам о вкусе двенадцатого котла. Так здесь принято.

ПОДЪЕМ – самое ненавистное слово в лагере.

ЭЛЕМЕНТ – различают СОЭ – социально-опасный элемент, и СВЭ – социально-вредный элемент. К первой категории относятся обычно политические заключенные, приговоренные к различным срокам Особым совещанием, а ко второй категории – уголовники и осужденные в административном порядке. Тех и других в лагере называют одним словом – "элемент". "Ты элемент?" – спросит старожил только что прибывшего заключенного. Иногда, но не всегда, за этим последует вопрос: "Какой?"

ВОСПИТАТЕЛЬ – выступает вместе с начальником лагеря в праздничные дни. Основная его задача – призывать заключенных к большей отдаче сил во время работы. Он организует "социалистические соревнования" (!) между соседними лагерями.

ЛЕКПОМ – лекарский помощник. В лагере врача нет. Врачи-заключенные, если они работают по специальности, находятся в больницах. Лагерный лекпом – человек без специального образования, умеет мерить температуру, давать аспирин при любом недуге и отличать обыкновенный понос от дизентерийного. Должность эта очень важная – не с точки зрения здоровья заключенных, а из-за полномочий, которыми облечен лекпом. Он может освободить на день-два от работы или отправить в больницу. Некоторые лекпомы лишены всякого человеческого чувства, некоторые звереют от страха. Не один лекпом получил дополнительный срок за "вредительство" – освобождение больных от работы с целью повредить социалистическому строительству и сорвать выполнение плана.

ДОХОДЯГА – заключенный, дошедший до грани физического истощения.

КОМЕНДАНТ – заключенный, отвечающий за чистоту и порядок в бараке.

ЛАГПУНКТ – трудовой лагерь. Когда говорят "лагерь", имеют в виду десятки, иногда сотни пунктов. Название Печорлаг относится, например, к огромному району лагерей, в котором имеется множество пунктов.

БЛАТ, ПО БЛАТУ – способ "устроиться" по знакомству или с помощью взятки.

РУГАТЕЛЬСТВА. Их бесчисленное множество. Такого, пожалуй, не было с той поры, когда человек обрел дар речи. Ругательства не всегда являются выражением ненависти, недовольства, агрессивности, иногда это выражение дружеских чувств, признательности, поздравление. Урки умеют говорить, надо только уметь их понять.

УРКИ И ЖУЛИКИ – уголовные преступники.

Наиболее употребительные слова – ругательства, но наиболее важные – норма, котел и блат.

Однажды мне довелось увидеть справочник нормировщика. Страницы напоминали логарифмические таблицы, но по толщине книга скорее походила на энциклопедию. По этим таблицам ведутся расчеты за все работы в Советском Союзе: на заводах и в колхозах, на строительстве и лесоповале. Нормы для ИТЛ рассчитаны на двенадцатичасовой рабочий день.

Хорошо бы заставить составителей самих поработать по их нормам, как было бы неплохо включить в программу подготовки судей обязательную отсидку в тюрьме. Во втором случае стало бы меньше несправедливости, а в первом – уменьшилось бы число надувательств в Советском Союзе.

Даже привычные к физическому труду люди не в состоянии ежедневно выполнять норму, установленную в лагерях для рабсилы, тем более не в со-

стоянии выполнить норму интеллигенты, из которых в основном состоит масса политических. Но от нормы зависит котел, а от котла – срок, за который заключенный превращается в доходягу. Советских каторжников призывают отдать последние силы за... дополнительные сто граммов хлеба, ложку каши, махорку. Это единственная премия за самоубийственный труд. Другой премии нет – даже для тех, кто работает по принципу: "300 процентов нормы на каждых двух работников". (Большой транспарант с такой надписью развевался над нашим лагерем.)

Награда за выполнение и даже перевыполнение нормы – не сытость, а меньший голод, но даже уменьшенный, он не идет ни в какое сравнение с тюремным. В Лукишках мы сидели взаперти; в лагере проводили шестнадцать часов в сутки на воздухе. Работа каторжная. Организм требует компенсации, но получает еще меньше того, что мы получали, сидя в камерах. Я видел, что сделал голод с обитателями Лукишек, и нетрудно было себе представить, что делает голод с людьми здесь, в лагерях. В Лукишках были "телефонисты", здесь я встретил двуногих животных. Голод...

Голодный человек пойдет на многое, чтобы наесться досыта – на большее, чем сытый ради обогащения. Чтобы уменьшить лютый голод, доходяга готов на большее, чем просто голодный ради сытости. Эта прогрессия определяется стремлением жить, выжить во что бы то ни стало. Оно растет, а не уменьшается, по мере того как заключенный отучается от привычек цивилизации и привыкает к скотской

жизни. Доходяга-заключенный готов на всевозможные уловки, чтобы подняться с первого котла на второй или не спуститься на второй с третьего. Но не каждый в состоянии выполнить обязательную норму. Работяги смеются над патриотическими речами начальника и воспитателя. Все знают, что норма невыполнима для среднего человека, и единственный выход – блат.

Какое отношение имеет блат к официальной норме, записанной в книге, к процентам, выполненным заключенным, и к котлу? Норма всегда зависит от нескольких факторов. Например, при разгрузке барж и загрузке вагонов она зависит от веса и расстояния. Если к расстоянию добавить при подсчете выполнения несколько десятков метров, вырастает производительность труда; то же самое происходит, когда округляют вес шпал. Бригада, в которой я работал, была не из передовых. В ней были не только белоручки, но и доходяги. Чтобы получить обычный для бригады второй котел, приходилось работать очень тяжело. Даже если полностью отбросить "реакционную" мысль, согласно которой каждый заключенный, даже не работающий, имеет право на достаточное питание, и условно принять величайшее достижение революции, отраженное в лозунге: "Кто не работает, тот не ест", приходишь к выводу, что мы свой котел зарабатывали потом и кровью. Но с точки зрения нормы мы должны были находиться где-то между штрафным и первым котлом. Мы же поднялись до второго, а иногда получали и третий – благодаря блату.

У блата много ступеней. Заключенный заинтересован в хороших отношениях с бригадиром; бригадир угождает прорабу; оба они заискивают перед нормировщиком. Сорочка с воротником часто переходит из рук в руки, от одного должностного лица к другому. Иногда может повлиять махорка, часто делает свое дело краденая вещь; но главное – разницу между нормой, установленной "партией и правительством", и фактически выполненной работой, определяет взаимный страх. В бригаде всегда имеются люди, которых боится бригадир; прораб часто боится бригадиров; нормировщик – тоже заключенный, и тоже не свободен от страха перед некоторыми людьми, находящимися внизу иерархии. Взятки и страх рождают вечный и всеобщий блат. Советской же статистике достаются цифры выполненной работы с поправками блата.

Неужели советское правительство не в состоянии справиться с этим массовым заговором? Нет, не в состоянии. Блат, правда, в конце концов обнаруживается. Становится известно о кубометрах земли, выкопанных в отчетах, о шпалах, погруженных на бумаге или о кривобокой и косой железной дороге. Бригадиры и прорабы получают дополнительные сроки, но блат непобедим. Ведь он раскрывается только в конечном итоге, а до тех пор надо жить. Это одно из внутренних противоречий нового рабства: лагерник превратился в рабочую скотину, но именно это и его желание выжить во что бы то ни стало срывает все планы и расчеты проектировщиков государственного строительства.

Кому поручен непосредственный контроль над рабсилой? В моем лагере большая часть административных должностей была занята уголовниками. В результате политический заключенный попадает в полную зависимость от уголовников, всегда презирающих интеллигентов и находящих особое удовлетворение в их унижении.

В царское время революционеры всегда боролись за особые права политзаключенных. В Советском Союзе статус политического заключенного ликвидирован, но равенства между ними и уголовными не возникло. Привилегия политического в "стране победившего социализма" – быть голоднее голодных, униженнее униженных.

- Эй, комендант, у меня вещи пропали.
Кто взял?
- Не знаю, исчезли вещи.
Что ты хочешь от меня? Куда сам смотрел?
Я спал, ничего не чувствовал.
Так кто тебе виноват? Надо было стеречь.
Но ведь ты комендант, ты обязан стеречь.
Я ничего не видел, отвяжись.

Такой диалог произошел у меня с комендантом барака назавтра после первого дня работы. Утром я не услышал сигнал и проснулся от крика: "Вставай! Подъем!" Я открыл глаза и посмотрел на мешок у изголовья. Мне показалось, что мешок сильно похудел. Пощупал его, открыл. Да, большая часть моего имущества исчезла.

"Отнимут, все отнимут, увидишь", – вспомнил я слова охранника на пароходе.

Его слова оправдались не полностью. Взяли не все. Пока...

Мы продолжали таскать шпалы. Покончили с этим, принялись за длинные рельсы. Работа была очень тяжелая, но зато коллективная, с определенным ритмом и даже шутками.

Из рельсов мы соорудили что-то вроде моста – вверх по крутому берегу. По бокам приладили два стальных каната. По команде шесть человек с каждой стороны брались за канаты и медленно двигались вверх по мосту к вагонам. "Разом!" – кричал бригадир: "Разом!" – кричали мы. Но тут же воздух оглашали традиционные русские ругательства с нововведениями, привнесенными революцией. "Тащи! – кричал один. – Ты почему не тянешь, паразит?" – "Сам паразит, змея! – отвечал другой. – Сам не тянешь". Если кто оступится, остальные хохочут. "Разом!" – и рельс ложится на ровную площадку. Ему, рельсу, тоже достаются отменные ругательства.

Бывший заместитель редактора "Правды" тоже таскал рельсы. Больное сердце, постоянная температура, частый пульс не освобождают заключенного, тем более КРТД, от работы. "Кто не работает, тот не ест". Гарин тянул канат из последних сил. Урки смеялись над ним: "Скольких отправил на тот свет, жид, пока сам сюда не попал? Там у тебя

были силы, а здесь нет, а?" Гарин молчал. Урки не отставали. Изо дня в день, на советской земле заместителя редактора "Правды" обзывали жидом. Не по-польски, а по-русски.

После каждых десяти дневных смен работы мы получали не выходной, а ... десять ночных смен. Работа в ночную смену отнимала еще больше сил. Во время перекуров многие засыпали; если бригадир или прораб не в состоянии были их добудиться, в дело шел ружейный приклад часового. Но и ночью, даже белой, не обходилось без блата.

Как-то ночью меня пробрал озноб. Утром мы с Гариным отправились к лекпому. Под наблюдением советского стража здоровья измерили температуру. У меня оказалось около сорока.

— Ступай в барак, — сказал лекпом. — Сегодня можешь не выходить на работу.

— Сегодня? — удивленно переспросил я. — Только сегодня?

— А ты что думал? — ответил лекпом. — Сразу отправлю в больницу? Приходи завтра, измерим температуру.

— А ты что делаешь с градусником? — закричал лекпом Гарину. — Меня хочешь обмануть? Ты ...

Гарин поправил градусник под мышкой.

— Градусник не так стоял, — сказал он. — Я не подгоняю. Он может подтвердить, — кивнул Гарин на меня, — что в больнице у меня все время была высокая температура.

Гарину действительно не нужно было ничего делать, чтобы ртуть поднялась до тридцати восьми граду-

сов. Посмотрев в большие, блестящие глаза Гарина, любой неспециалист мог понять, что перед ним тяжело больной человек. Но в советских лагерях наряду с детскими сроками (три года) существует и детская температура. 38 градусов? Какая это температура?

– Иди работать, – сказал лекпом Гарину.

Три дня пролежал я на нарах с высокой температурой в компании клопов. Впервые с момента ареста мне стало жалко себя. На четвертый день градусник показал тридцать семь и одну.

– Сегодня ночью выйдешь на работу, – сказал лекпом.

– Сегодня ночью? У меня три дня подряд была высокая температура, я очень ослаб и должен, по крайней мере, еще день полежать.

– Нельзя, выйдешь на работу.

Я продолжал протестовать.

Лекпом не выдержал и закричал:

– Думаешь, мне приятно посылать тебя на работу? Я знаю, что ты слаб, но я сижу четыре года и должен отсидеть еще четыре. Начальник ругается, что я освобождаю слишком часто. Знаешь, чем это пахнет? Завтра меня могут обвинить во вредительстве! Пошел работать, не подохнешь. Из-за тебя еще навесят новый срок.

Я вышел на работу. "Сколько раз организм может выдержать такое лечение?" – спрашивал я себя. Но и лекпом – лагерник, его тоже можно понять.

18. ПЕРЕВОСПИТАНИЕ

Сортир

– Эй, Сортир, отойди в сторону.

Впервые услышав такую кличку, я удивился. Урки обычно дают прозвища по внешним признакам. Меня, например, прозвали Очкариком, было имя Сапоги, но Сортир! Вскоре я, однако, понял, что прозвище не случайное.

Сортир был молодой парень лет двадцати, но успел отсидеть уже четыре года. Он работал на железнодорожной станции, был арестован и обвинен во вредительстве.

– Ты признался? – спросил я, выслушав рассказ о его жизни.

– Как не признаешься? – ответил он удивленным вопросом.

По ходу "перевоспитания" он заболел недержанием мочи. Его не лечили, даже не пытались. Температуры у него не было. А работа не страдает, если какой-то заключенный перестает ходить в сортир.

Несчастного все презирали. Возле него действительно было трудно стоять. Тряпки, называемые брюками, и даже тряпки на ногах были всегда мокрые

и страшно воняли. Его считали ненормальным. Я помню улыбку, с которой он принимал все оскорбления и пинки: "Пошел, пошел вон отсюда, не торчи возле меня". Улыбка и вправду была, как у слабоумного. Я много с ним беседовал, часто отдавал ему свою махорку. Он рассказал о себе, о страшном голоде на Украине в годы коллективизации. Он был не глуп, но смирился с судьбой.

До сих пор перед моими глазами этот символ "перевоспитания" – человек, превратившийся в отхожее место. Так его и звали.

Живой труп

– Это ты видел? – спросил меня сосед по нарам. Он размотал лохмотья на ноге. Я посмотрел и отвернулся: из многочисленных ранок на ноге сочился желтовато-красный гной.

– Тебя не лечат? – спросил я.

– Это цинга, – ответил он. – Лекпом дает мазь, да разве она помогает? С этим в больницу не направляют.

Это был заживо гниющий человек – живой труп.

Не успел умереть

В моем бараке был капитан советской армии. Молодой, веселый парень. Он служил на советской военной базе в Литве до "июньской революции".

— Я получил пять лет, — рассказал он, — за опоздание из отпуска. Я действительно затянул отпуск на двадцать четыре часа. Был с друзьями. Каждый вечер мы ходили в рестораны Вильнюса и Каунаса. Наслаждались жизнью. В любом ресторане чисто, красиво. Официанты обслуживают вежливо, уютно, тепло. Ну, выпили немножко, как без этого? Опоздал с возвращением в часть и получил. Но я не раскаиваюсь. Вы ведь не знаете, как советский человек тоскует по уединению. Мы никогда не можем остаться наедине с собой. Едим в столовке. Вечно полно народу, сидим десятками за длинными столами, всегда торопимся. Кончил? Уступи место другому. Спим в большой комнате общежития, рядом чужие. Даже в семейной жизни нет уюта. Почти все квартиры коммунальные. Как хочется иногда советскому человеку остаться наедине с собой, со своей семьей! Но как это сделать? Поэтому можешь мне поверить: те дни в Вильнюсе и Каунасе были лучшими в моей жизни. Я готов пойти на сделку: пусть мне дадут пожить там у вас, и я готов за каждый месяц такой жизни провести год в лагере... Да, еще пять лет лагеря за пять месяцев такой жизни!

— Что с твоей семьей? — спросил я его во время одной из наших многочисленных бесед.

— Я женился перед отправкой на финский фронт. Детей у меня нет, и я не беспокоюсь. Жена не пропадет. Выйдет замуж за другого. У нас женщины не пропадают.

Однажды мы заговорили о войне Советского Союза с Финляндией.

– Нам сказали, что мы финнов шапками закидаем, – начал капитан, – но оказалось не так-то просто. Война велась в районе Ленинграда, но ее почувствовал весь советский народ. Даже норму хлеба пришлось из-за нее срезать. Финны умеют воевать. Особенно наши ребята боялись "белых дьяволов", появлявшихся в самые неожиданные минуты. Много наших попало в плен. Было нелегко, но я думаю, что в конце концов мы справились бы с финнами. Красная армия – это не шутка, сила у нас имеется. А знаешь, что случилось с пленными? Финны их освободили, а мы арестовали. Не всех, правда, посадили, но каждого допрашивали, почему и как попал в плен. Многие получили большие срока за "измену", хотя известно, что на финском фронте часто целые полки сдавались в плен. Об одном из таких следствий рассказал мне солдат, служивший позднее в моей части в Литве. После возвращения из плена солдата арестовали.

– Расскажи, – попросил его следователь, – как ты попал в плен.

– Очень просто, гражданин следователь, – ответил солдат. – Финны окружили нас, грозили всех убить. Командир приказал сдаваться, мы подняли руки и сдались в плен.

– Так сдаются? – закричал следователь. – Ты должен был умереть за родину!

– Не успел, – ответил солдат.

Игра в карты – на голову

Его звали Краснобородка, и сидел он за убийство. Он был признанный вожак урок. Нюхом чуял, где находятся усиленные пайки для личного состава – офицеров НКВД и всевозможных чиновников. Узнав про полученное продовольствие, Краснобородка применял основной принцип коммунизма: отнимал у богатых и раздавал бедным. НКВД не согласен, правда, в наше время и на своей территории с таким способом дележки, но Краснобородка обладал безошибочным нюхом и всегда своего добивался. Его даже часовые боялись.

Однажды Краснобородке и его людям удалось взломать ящик со шпиком. Для урок это был настоящий пир. Перекур превратился, невзирая на крики и мольбу прораба, в праздничную трапезу у костра. Было, правда, больше свинины, чем хлеба, но им столько времени приходилось есть хлеб без всего, что теперь чистое сало не вызывало отвращения. Разумеется, только участники ограбления делили добычу. В лагере не принято угощать.

Когда урки насытились, Краснобородка рассказал о судьбе одного из лагерных начальников:

– Это был сукин сын... ого-го... В каждую дыру совал свой нос. Член партии, знаете, очень преданный советской родине, знаете. Всегда напоминал, что мы должны быть благодарны правительству. Все мы, по его словам, заслужили расстрел, но правительство решило нас помиловать, и за это мы должны быть ему благодарны... Говорю вам, братцы, у него не про-

ходил никакой блат. За каждую мелочь наказывал карцером или отдавал под суд. Пес проклятый, каждый раз выдумывал новые наказания. В карцер посылал только зимой, летом приказывал раздеть человека и привязать к дереву в лесу. Можете себе представить, что из него делали комары и мошкара. Так начальник над нами издевался, и мы решили, что русская земля не может больше носить такого гада.

Что мы сделали? Очень просто. Сели за карты и договорились, что проигравший уладит это дело. Ну, один, конечно, проиграл, и начальник исчез. Просто исчез. Как, кто? — не важно, главное, что он исчез. Его искали, еще как искали! И нашли. Ну были, конечно, неприятности, грозили каждого десятого расстрелять, перевели в штрафной лагерь, но начальника нет, вот.

Несколько политзаключенных, и мы с Гариным в их числе, грелись у костра и слушали рассказ об игре в карты не на выигрыш, а на проигрыш, не на деньги, а на человеческую жизнь.

19. ЭТАП

— Ты поляк? — спросил меня однажды охранник.

— Я еврей по национальности и польский гражданин.

— Не понимаю. Польский гражданин — значит, поляк.

— А что такое? — спросил я его, отчаявшись растолковать различие между национальностью и гражданством.

— Всех поляков освобождают.

— Кто сказал? — спросил я, почувствовав странную слабость.

— Я говорю, а если я говорю, значит, это правда.

— Но кто сказал это тебе? — спросил я, стараясь сохранить спокойный тон.

— Не веришь, а? Раз так, скажу, от кого я слышал. По радио слышал. Сказали, что все поляки выйдут на свободу и будут помогать нам в войне против немцев... Ну, теперь веришь? Советское радио говорит только правду.

Слух о предстоящем освобождении разнесся по лагерю, как пламя, подхваченное ветром. И верилось, и не верилось. Начальника лагеря мы не спрашивали, чтобы не выдать свою радость. Вдруг это западня? Но даже если правда — лучше быть осторожнее.

Москва далеко, Печора рядом; и судьба наша пока в руках начальника Печорлага... Мы продолжали таскать железо, участвовали в "социалистическом соревновании", о котором с воодушевлением говорил воспитатель. "Демосфен, – сказали мы друг другу, – мог бы поучиться красноречию у нашего воспитателя, но мы-то не гордые эллины, а жалкие, измученные трудом илоты".

Однажды воспитатель без всякого пафоса объявил, что мы должны пойти на собрание польских граждан, в котором будут участвовать также поляки из соседних пунктов.

– Что такое? Что случилось? – спросили мы воспитателя, такого же заключенного, как и мы?

– Я не уполномочен ничего сообщать, – ответил воспитатель. – На собрании будет большое начальство, и вам все объяснят.

Среди поляков, пришедших с соседних пунктов, была женщина. Проходя мимо нее, начальник лагеря остановился и удивленно спросил:

– Ты тоже здесь?

– Конечно, – ответила женщина. – Я родилась в Польше, я польская гражданка.

– Посмотрим, – сказал начальник. – Но мне кажется, что ты к этому собранию отношения не имеешь.

Эта женщина училась в одно время со мной в университете – на другом факультете. Я ее не знал, но много о ней слышал. Она была дочерью богатого еврея-коммерсанта, активной коммунисткой и славилась своей красотой и красноречием. Теперь я встретил нашу "Аппассионату" на берегу Печоры.

До начала собрания она успела рассказать мне свою историю. Да, она бежала из Варшавы и покинула Польшу. Через Данциг сумела пробраться в Советский Союз. Была ли счастлива? Как можно задавать такой вопрос? Понимаю ли я, что такое счастье? Она знала настоящее счастье. Жила в Москве. Работала, училась. Вышла замуж за молодого инженера. Муж у нее русский. Замечательный, умный человек. Жизнь была так прекрасна, так прекрасна! Советский университет, советская среда, советская земля, советское небо — все советское. Как приятно дышать советским воздухом!

Что случилось? Как она попала сюда? За что ее арестовали? Лучше не спрашивать. Какое это имеет значение? Ее арестовали в 1937 году. Что с мужем, она не знает. Возможно, и его арестовали. Страшно подумать: его могли арестовать из-за нее. Но, может быть, он на свободе? Вестей от него нет. "С момента ареста от него ни одной весточки. Не знаю, где он. Да и кому я нужна теперь такая?"

Я все думал: неужели это Ноэми? Передо мной сидела старая женщина, седая, с потухшими глазами. Неужели это та красавица студентка!

Я спросил, как ей живется в лагере, чем она занимается. Сначала, — ответила она, — было трудно, теперь легче. Она работает на кухне и кое-как устраивается. Но ей очень хочется выйти из лагеря, и вот появилась надежда. Ведь она польская гражданка. Все говорят, что граждан Польши амнистируют.

Позднее старожилы лагеря рассказали мне, как она "устраивалась"...

На собрании поляков представитель Печорлага сообщил, что действительно подписано соглашение между правительствами Советского Союза и Польши, и советское правительство решило амнистировать всех польских граждан. Он сам читал текст соглашения в "Правде". Однако администрация Печорлага не получила пока никаких указаний об освобождении польских граждан. Пока указание не получено, должны трудиться плечом к плечу с остальными заключенными. Он созвал собрание, чтобы объяснить нам ситуацию и избежать недоразумений. Он уверен, что теперь мы будем трудиться с еще большим энтузиазмом, так как Польша и Советский Союз ведут совместную борьбу против общего врага, против немецких людоедов. Наша работа, – закончил он свое выступление, – тоже вклад в будущую победу.

Потом с патриотической речью выступил начальник нашего пункта, а за ним, с еще более патриотической речью, – наш воспитатель. Он призвал нас служить примером остальным заключенным во время соцсоревнования между двумя соседними лагерями.

– Вопросы имеются? – спросил в заключение начальник лагеря.

Моя соседка встала и спросила, распространяется ли амнистия на всех польских граждан или только на тех, кто арестован после 1939 года.

– Вы не полька, – резко ответил ей начальник, – и вас все это не касается.

Бедная женщина промолчала. Вопросов не было. Информационное собрание закончилось. Мы выслушали наших Демосфенов и отправились работать (невзирая на амнистию) как илоты.

Через несколько недель после польского собрания по лагерю вихрем пронесся новый слух: этап! Часть заключенных будет переведена в другой лагерь. Слух вызвал волнение и страх заключенных. Урки матерились. "Нас посылают на смерть", – говорили они. Теперь они не оставляли в покое охранника. "Ты почему на фронт не идешь? – спрашивали они его. – Здесь ты герой, а? Мучить людей ты умеешь, а на фронт пусть другие идут, а?" Охранник отвечал им с непонятной сдержанностью: "Заткнитесь, заткнитесь", – но урки продолжали свое.

Никогда я не видел урок такими нервными, взбудораженными. Даже Краснобородка потерял душевное равновесие. Слово "этап" навело страх на весь лагерь.

Медицинская проверка перед массовой отправкой была короткой и дала удивительно "хорошие" результаты. Почти все были признаны годными для этапа. Гарин был признан годным, Сортир – тоже, даже "живой труп" оказался достаточно здоров.

Нас, польских граждан, тоже повели на медосмотр. Один из нас спросил начальника лагеря, почему мы включены в список? Начальник ответил, что это зависит не от него. Ему приказано готовить этап, и нет никаких указаний относительно поляков. Если мы хотим жаловаться, наша делегация может поговорить с уполномоченным, только что прибывшим

из Москвы. Он, начальник, будет очень рад, если мы выйдем на свободу.

Заключенные-поляки требовали, чтобы я с одним офицером пошел на встречу с уполномоченным. Я отказался. Одно дело защищать свою честь и честь своей нации, и совсем другое – мозолить глаза чекисту. Но товарищи настаивали, говоря, что это вопрос жизни и смерти для всех нас. Другие выйдут на свободу, а мы сгнием в новом лагере. Я уступил давлению и вместе с бывшим офицером пошел к уполномоченному.

Уполномоченный принимал в бараке на холме. Рядом с ним сидела женщина средних лет.

– В чем дело? – спросил он после того, как начальник лагеря представил нас.

Я сказал, что мы, граждане Польши, просим не отправлять нас этапом. Мы амнистированы, скоро освободимся и будем воевать. Какой смысл посылать нас на север, если скоро мы должны будем ехать на юг?

– А кто вам сказал, что вы едете на север? – спросил уполномоченный.

– Не знаю, так говорят в лагере.

Женщина начала говорить о социалистическом строительстве, о пользе, которую можно принести советской родине в любом месте. Она тоже говорила, как Демосфен. Уполномоченный неожиданно прервал ее:

– Я уполномочен партией, не говори так много.

Обратившись к нам, он объяснил: этап необходим. Здесь, в лагере, нет работы для всех заключенных. В то же время в нас нуждаются в другом месте.

Ему известно о соглашении между правительствами Советского Союза и Польши. Да, советское правительство решило нас амнистировать. Но он не получил пока конкретных указаний ("понимаете, конкретных указаний?") об освобождении польских граждан. Поэтому он обязан относиться к нам, как ко всем заключенным. Мы нужны на строительстве в другом месте. Но не надо беспокоиться. Если придет распоряжение, нас снимут даже с корабля и отправят в нужное место.

Он спросил, как меня зовут, и на этом беседа закончилась. Было ясно: надо готовиться к этапу.

Но мой друг Кароль не отчаивался. Он прибыл в лагерь из больницы через несколько недель после меня и вскоре стал бригадиром. Некоторое время он возглавлял мою бригаду, поддерживал "профессиональные связи" с прорабом, нарядчиком и другими должностными лицами. Благодаря этим связям он не был включен в этапный список и пытался вызволить и меня. Все напрасно. Не помогли даже сорочки (у меня еще было несколько). Начальник лагеря сказал знакомым Кароля, просившим за меня: "Он обязательно должен быть в списке".

Кароль думал, что я "угробил себя", отправившись на встречу с уполномоченным. Возможно, он был прав. Но какой смысл сожалеть об этом? Ведь сделанного не воротишь. Я утешал Кароля, как только мог. Радовался, что ему удалось остаться, и переживал предстоящую разлуку.

Но кто может предсказать судьбу человека? Как знать, что хорошо и что плохо?

Кароль не ушел с этапом, остался в лагере. Он остался в лагере навеки. Мы не знаем, где его могила. Но если бы знакомые не помогли ему, если бы он спустился вместе с нами в трюм этапного парохода... Кто знает?.. Передо мной печальные глаза веселого, доброго Котьки, провожающие меня в трюм. Он, верно, очень за меня боялся, хотя я и пытался его утешить. Кто мог знать, что добро — это зло?

При составлении рабочих бригад нас пересчитывали бесчисленное множество раз. Когда же нас вывели из лагеря, выяснилось, что пароход не готов принять рабсилу. Три дня и три ночи мы пролежали на мерзлой земле, и весь котел составлял уменьшенную порцию хлеба (мы не работали!) с холодной водой. У нас не было "прописки": новый пункт не мог нас принять, старый нас уже не признавал. Зима была на пороге. Белые ночи кончились. Холодные, сырые ночные туманы вызывали неуемную дрожь; великолепное северное сияние каждую ночь освещало самый ужасный ад на земле.

В ночь перед отправкой начальство сжалилось над нами. Ворота лагеря, в котором мы работали, открылись, и нас повели в пустые бараки. Мы вскарабкались на нары, и они показались нам очень удобными. Наученный горьким опытом, я привязал к руке остатки своего имущества и, несмотря на ужасную вонь и духоту, уснул крепким сном.

Проснувшись утром, я хотел было нащупать свой узелок с вещами, но его не было. На руке ви-

сел обрывок веревки — все, что оставили мне урки. Теперь у меня не было ничего, кроме одежды на мне...

"...Отнимут, все отнимут, увидишь", — вспомнил я снова охранника на буксире. Он знал. Взяли, правда, в два приема, но взяли все. Страж порядка знал обычаи в исправительно-трудовых лагерях. Отнимут, все отнимут — и защиты от этого нет.

В тот же день, когда урки освободили меня от лишнего груза, мы спустились в трюм и поплыли на север. Нас было около восьмисот человек — часть из нашего пункта, часть из другого. В большинстве своем это были урки, а среди политических преобладали поляки, литовцы и эстонцы. Евреев было шесть вместе с Гариным. В трюме было, как в карцере, но теперь Лукишки показались бы мне домом отдыха.

На вопрос, как поместились восемьсот человек в трюме маленького грузового судна, могут ответить только специалисты НКВД. К мокрым переборкам трюма были прикреплены нары в три этажа, и на них вповалку лежала советская рабсила. Ни встать, ни сесть, ни шевельнуться — только лежать, лежать и ночью, и днем. Да и не отличишь дня от ночи в постоянном мраке под палубой. Так мы плыли по Печоре около трех недель. На север, на север, строить новый мир.

Пили холодную забортную воду. Почти у всех заключенных был понос. Два клозета на восемьсот человек. Эти два очка были установлены на кормовой палубе. Приходилось взбираться к ним по

лестнице, очередь не прекращалась ни днем, ни ночью. Спустившись с палубы, заключенные часто занимали место в хвосте очереди снова. Охранник стоял на палубе, палец на курке, и кричал: "Давай, давай, поскорее, другим тоже надо..."

Но всего мучительней была власть урок в плавучем общем карцере. И в лагере уголовники заправляли всем: нормы, должности, вещи, места ночлега — все было в их руках. Под палубой же исчезли последние препятствия к их безраздельному владычеству.

Часовой стоит на палубе. В руках у него винтовка со штыком. Он охраняет рабсилу, следит, чтобы никто не сбежал, не покончил жизнь самоубийством, бросившись в зеленую воду Печоры. В трюм он не спускается... Боится... И не без основания. В трюме людям Краснобородки нетрудно окружить часового, оглушить его ударом по голове, отнять винтовку, прикончить. Нет смысла жаловаться часовому, что тебя избили, ограбили, отняли кусок хлеба — он не захочет и не сможет вмешаться. Он наверху, урки внизу. Пожалуешься — тебе же будет хуже. На этапном пароходе советский закон кончается у входа в трюм, где начинается власть урок.

В этапе не работают, времени свободного много. Основное занятие — карты; они запрещены правилами тюремного распорядка, но допущены воровским уставом. На что играют? На деньги (у них всегда водятся деньги); на краденые вещи (однажды я увидел на перевернутой бочке, служившей столом картежникам, свои перчатки, увидел и промолчал);

на ботинки (которые во время игры могут быть на ногах какого-нибудь несчастного интеллигента); часто играют на пайку.

Игра в карты не всегда кончается миром. Кто-то проиграл. Кого-то надули. Того обвиняют в шулерстве. Этого бьют. Вот урка схватился с другим. Одна банда против другой. Брань, удары. Глаза наливаются кровью, предвещая убийство. После этого — братание, рукопожатья. Нежные ругательства, дружеские проклятия. Драка кончилась. Ссора исчерпана. Начинается подготовка к новому совместному ограблению.

Урки умели и развлечься. Была веселая игра "в вошки". Мы отвыкли от чистых рубах и привыкли к рубахам со вшами. Все дело привычки. Не зря из лагеря в лагерь по всему Советскому Союзу несется слово "привыкнешь". Не следует цепляться за устаревшие навыки цивилизации. Чистить зубы? Если нет зубной щетки (урки украли) — отвыкнешь и от чистки зубов. Руки мыть? Если нет мыла и даже воды — будешь есть грязными руками. Вши? Только первый раз ты взбунтуешься, выйдешь из себя и со страхом спросишь: "Куда я попал?" А потом ты привыкнешь к ним, они привыкнут к тебе. Будешь жить с ними, и от этого желание жить не уменьшится.

Урки собирали своих вшей целыми пригоршнями и пускали, через щели в нарах, на наши тела, головы, лица. "Как подарочек?" — смеялись они сверху жутким нечеловеческим смехом. Еще более мощный взрыв хохота вызывал удачный маневр — сунуть "подарочек" прямо под рубаху ненавистному интел-

лигенту: "Ха-ха, пусть погреются, бедные, под мышкой у интеллигента, пусть немного погреются..."

Эту атмосферу зловония и мрака, издевательств, страха и угроз с трудом выдерживал измученный Гарин, бывший заместитель редактора "Правды", с вершины власти попавший в царство урок, среди голодных, больных, униженных рабов.

Как-то днем (или ночью?) Гарин, лежавший возле группы еврейских заключенных, попросил разрешения прилечь рядом со мной. Мои соседи сколько могли подвинулись, освободили ему место на нарах. Гарин лег рядом со мной.

— Они хотят убить меня, — зашептал он мне на ухо.

— Кто хочет вас убить? О чем вы говорите? — удивленно спросил я.

— Они хотят убить меня. Я пропал. Урки хотят меня убить. Вы не знаете, что случилось... Вчера я поднялся на палубу, чтобы пойти в уборную. У выхода меня схватили урки (я думаю, они из банды Краснобородки), оттащили в угол и потребовали, чтобы я отдал им свои деньги. Я сказал, что у меня нет денег, они не поверили и обыскали. Ничего не нашли. Потом избили меня, пинали ногами. Им известно, — сказали урки, — что у меня есть деньги, и я их просто спрятал. Если не принесу в следующий раз, меня убьют. У меня действительно было триста рублей, я привез их из Томска. Помните, я вам рассказывал? Весь день я лежал, никуда не выходил. Но вечером я должен был выйти. Не мог сдержаться, не мог. На палубу подняться боялся, знал,

что меня караулят. Но выхода не было. Я повесил мешочек с деньгами, как обычно, на шею. Думал, может быть, больше не тронут. Но на случай, если снова схватят, лучше иметь деньги при себе. Я не могу выдержать побои и не хочу, чтобы меня убили. Они меня ждали. "Принес?" – спросил один из них. Собственными руками я развязал мешочек, вынул деньги и отдал им. Они потянули мешочек изо всех сил, и веревка порвалась. Они искали в мешочке, но там было пусто: я не оставил себе ни рубля. "Это все? – спросили они. – Больше у тебя нет?" "Больше нет, – ответил я. – Можете, если хотите, обыскать нары". Они засмеялись и дали мне подняться на палубу. Я с трудом двигался.

– Спускаясь в трюм, – продолжал шептать Гарин, обдавая меня горячим дыханием, – я увидел, что они играют в карты. Один из них закричал мне: "Рассказал стрелку, а? Коммунист, паразит, гад. Донес на нас, а? Сколько людей загубил в своей жизни? Думаешь, и здесь тебе все позволено? Мы с тобой как-нибудь управимся..." Я сказал, что со стрелком не разговаривал, поклялся им, что никому не рассказал. Но они мне не поверили. Ты донес, – сказали они, – и мы тебе еще покажем. Они дали мне пройти, а сами продолжали играть.

– Я уверен, Менахем Вольфович, что они играли на мою голову. Помните рассказ Краснобородки? Они играли на мою голову, я в этом уверен. Я пропал. Они убьют меня.

Я попытался успокоить его.

— Не говорите глупости, — сказал я с упреком, — они играли не на вашу голову, а на ваши деньги. Они хотели запугать вас, чтобы вы стрелку ничего не рассказывали. Не бойтесь, они вас не тронут.

— Нет, нет, — шептал Гарин, — они играли на мою голову. Я их лучше знаю, чем вы. Они убьют меня.

— Знаете что, — предложил я Гарину, — я поговорю с Краснобородкой. Мне уже пришлось с ним говорить насчет моих вещей, и он обещал поинтересоваться. Уверен, что часть вещей находится у него самого, но, во всяком случае, ко мне он относится неплохо. Ребята рассказали ему, что я им помогал, особенно Клозету. Помните, он защищал меня от чужих урок? Я поговорю с ним и объясню, что вы ничего часовому не рассказали.

— Нет, это даже опасно, — ответил Гарин. — Лучше с ним не говорить. Он может сказать, что я всюду болтаю про деньги и наверняка рассказал стрелку. Нет, не говорите с ним. Это не поможет, только испортит все...

— Смотрите! — закричал вдруг Гарин, схватил мою руку и прижался, как маленький ребенок. — Смотрите! Он идет с ножом!

Я посмотрел. С верхних нар медленно спускался урка. Он что-то держал в руке. Издали трудно было различить, но это вполне мог быть нож.

Урка прошмыгнул мимо нас, даже не обратив внимания на Гарина. В руке у него была ложка. Гарин пережил несколько минут смертельного страха. Я продолжал его успокаивать. Воспользовался его ошибкой, чтобы рассеять все опасения. При пер-

вой же возможности переменил тему, и мы заговорили о литературе. После этого разговора он меня не покидал. Перенес ко мне свою котомку. Лежал рядом со мной днем и ночью. Старался подниматься на палубу вместе со мной или просил проводить его. Урки его не трогали, но продолжали издеваться и угрожать. Гарин был уверен, что конец близок.

Однажды голос Гарина вырвал меня из постоянной дремоты, в которой мы находились из-за мрака, голода, слабости, зловония и постоянного лежания.

- Менахем, Менахем, – шептал Гарин.

Впервые он обратился ко мне просто по имени.

Вы помните песню "Вернуться"?

Впервые он обратился ко мне на идиш.

– Какую песню? – переспросил я его, тоже на идиш.

Он сказал: "Лу-шу-в", и я в первую минуту не понял – то ли из-за его ашкеназийского произношения, то ли из-за полудремы, от которой я еще не очухался.

– Как, вы не знаете? – сердито ответил Гарин вопросом. – Это песня, которую поют сионисты. В Одессе сионисты пели ее, когда я был еще мальчиком. Лу-шув, лу-шув, вы не знаете эту песню?

– А, вы имеете в виду "Атикву"?

– Может быть "Атиква", я помню только слова "лушув, лушув".

– Да, это "Атиква" – "Лашув лезрец авотейну" ("Вернуться на землю праотцев"). Разумеется, я знаю эту песню.

— Раз так, — попросил Гарин, — спойте мне ее. Видите, Менахем, я уже отсюда не выйду. Слышите...

Он схватил мою руку и положил себе на грудь. Сердце учащенно билось.

— Видите, — продолжал Гарин, — я человек конченый. Урки играли на меня в карты, они убьют меня. Но предположим, вы правы, и они хотят только запугать меня. Сколько времени могу я прожить с таким сердцем? Отсюда мне живым не выйти. Вы здоровы. С вами остальные евреи. Вас амнистировали. У вас есть шанс выйти на свободу. Может быть, встретите моих детей, кто знает? Расскажите им про их отца, расскажите все. Скажите, что я всегда думал о них. Но теперь прошу вас спеть "Лашув", спойте мне "Лашув".

Вместе с Мармельштейном мы запели "Атикву" К нам присоединились три соседа-еврея. Мы пели с ашкеназийским произношением, как поют "Атикву" в галуте. Гарин молчал. Слушал. Прислушивался к словам: "Вернуться в страну, в страну праотцев..."

Урки проснулись:

— Вы что там поете, жиды?

— Они молятся, молятся своему Богу, чтобы помог им.

Урки дико засмеялись. Мы продолжали петь.

Урки правы. Это не песня, а молитва.

Мне казалось, что я только что принял исповедь еврея, который много лет отвергал свой народ и теперь, перед самым концом, после страданий и мук возвращается к своему народу, к своей вере. Боже милостивый, жизнь создает более фантастические

сюжеты, чем самый смелый писатель. Вот мы лежим в беспросветной тьме, среди урок — полулюдей-полузверей. Рядом Гарин, бывший замредактора "Правды", коммунист, человек, оторвавшийся от своего народа, возненавидевший Сион и преследовавший сионистов. Когда в последний раз он слышал "Атикву" в Одессе? Когда он в последний раз смеялся над словом "Лашув"? Чего он только ни делал, чтобы искоренить "атиква лашув" ("надежду на возвращение")? Чего он только ни делал, чтобы воплотить в жизнь другую "надежду"? Четверть столетия прошло с тех пор, как сбылась его мечта — победила революция, за которую боролся и страдал, во имя которой трудился и воевал. Четверть века... И вот революция отблагодарила своего преданного борца и руководителя: объявила его предателем, врагом народа, шпионом. Он получил тюрьму, больное сердце, побои, кличку жид, железные шпалы, опять жид, этап, снова жид, пинки, ограбление, угрозы урок, унижение, страх, еще и еще раз — жид. И теперь, после всех мук, бывший замредактора "Правды", бывший генеральный секретарь коммунистической партии Украины вспоминает песню "Лашув". "Лашув, лашув леэрец авотейну" — и это его последнее утешение.

И пусть слышит Печора — быть может, впервые с тех пор как понесла свои воды на север — молитву-исповедь, песню-молитву: לשוב, לשוב לארץ אבותינו

Вот уже несколько дней мы стоим на причале. Вокруг нас много других судов. Целый невольни-

чий флот. Мы прошли длинный путь, но впереди еще дальняя дорога — на север, на север. Рабочие пристани, тоже заключенные, готовят пароходы к отплытию.

В один из этих дней охранник наклонился над трюмом и закричал:

— Бе-ги-н!

Урки, стоявшие у выхода, завопили:

— Бе-ги-н!

— Здесь! — крикнул я в ответ.

— Имя, отчество.

— Менахем Вольфович.

— Верно.

— Данавский! — продолжал кричать охранник. — Имя, отчество?

И еще много имен, по алфавиту.

— Все, кого назвал, поднимаются с вещами. Пришло указание освободить всех поляков, вы выходите на свободу.

Я простился с Гариным и побежал к выходу.

Вещей у меня не было. На ходу я подхватил свой короткий ватник.

"Чужой" урка схватил меня за рукав, хотел то ли удержать, то ли забрать ватник.

Я вырвался и побежал к лестнице.

— Но ведь это жид, а не поляк! — закричал урка.

Ему я тоже не мог объяснить различие между гражданством и национальностью, но я его понял хорошо: из всех завистей в мире самая глубокая — это зависть заключенного, сосед которого выходит на свободу.

Я поднялся на палубу. Вскоре возле меня стали Мармельштейн и остальные евреи и несколько поляков.

Со стороны берега подплыла лодка.

— Готовы? — крикнул кто-то из лодки. — Поляки готовы?

— Готовы, готовы! — закричали в ответ часовой и "поляки". Сбылись слова уполномоченного из Печорлага. Мы сели в лодку и поплыли к берегу, в перевалочный лагерь. Отсюда — на юг, на юг.

Я ехал налегке — без вещей. На душе тоже стало легко: за спиной вырастали крылья.

20. ЦЕЛЬ И СРЕДСТВА

На своем опыте и опыте других заключенных я изучил основные характерные черты социалистических концлагерей.

Советские пропагандисты восхваляют исправительно-трудовые лагеря, особо подчеркивая две стороны. У нас, говорят они, в отличие от капиталистических стран, заключенный не вырождается из-за безделья. У нас заключенный работает, строит, и созидательная работа исправляет его характер. Во-вторых, утверждают советские агитаторы, в Советском Союзе заключенным предоставлено "внутреннее самоуправление". Свои дела они улаживают между собой, собственными силами, а власти ограничиваются контролем за ходом процесса – превращения преступника в честного труженика. Однако эти агитаторы не говорят, в каких условиях работают заключенные, в каком климате живут и "созидают", какую пищу и одежду им выдают. Официальные ораторы не рассказывают, что "внутреннее самоуправление" в ИТЛ означает управление урок, власть преступников, их постоянное издевательство над политическими заключенными – общей жертвой НКВД и уголовников. Если вам придется столкнуться с теориями об "исправительном труде и самоуправле-

нии", пошлите их авторов подальше — куда мы по прибытии на Печору мечтали отправить лукишских парикмахеров.

В западной литературе высказывают иногда предположение, что советские исправительно-трудовые лагеря ничем не отличаются от немецких концентрационных лагерей. Это сравнение — результат упрощения, и оно не соответствует действительности. Необходимо различать нацистские концлагеря до 1939 года и лагеря массового уничтожения периода Второй мировой войны.

До войны условия в лагерях Германии, Австрии, Чехии, Моравии и Словакии были намного мягче для заключенных, чем в советских лагерях. Об этом рассказал мне врач-еврей, с которым я встретился на берегу Печоры. Врач провел несколько лет в Дахау. Освободившись из этого известного теперь всему миру концентрационного лагеря, он решил во что бы то ни стало бежать из нацистской Германии. После разгрома Польши и ее раздела врач перешел черту, разделявшую советскую и германскую оккупационные зоны, и оказался в Советском Союзе в качестве беженца. С ним случилось то же, что и с тысячами других преследуемых евреев, которых советские власти окрестили перебежчиками: его задержали, потребовали показаний о задании, полученном им от немецкой разведки, и приговорили, по подозрению в шпионаже, к пяти годам. Так мы и встретились благодаря НКВД в одном исправительно-трудовом лагере. Вот что рассказал мне врач-

еврей, на себе познавший все прелести жизни в советском и немецком концлагерях:

– Я сидел в Дахау. Мы работали на прокладке дорог. Тяжело, но в день работали восемь часов. Да, немецкий надзиратель иногда бил по щеке и обзывал еврейской свиньей. Это было ужасно. А что здесь? Урки каждый день не называют меня пархатым жидом? От них я не получаю пинков? Думаете, мне легче оттого, что бьют и обзывают меня уголовники, а не охранник? Зато там у меня была удобная кровать с чистой постелью. У меня были мыло, зубная щетка, чистое белье, теплая одежда на зиму. Все время я поддерживал связь с семьей, получал письма, посылки, никогда не голодал. Мне ненавистны проклятые нацисты. Но, лежа здесь, в этой вонючей грязи, расчесывая искусанное тело и тоскуя по дополнительной пайке, я допускаю иногда страшную мысль. Признаю, что мысль эта ужасна, но от вас ее не скрою. Если бы мне предложили выбрать между Печорлагом и концлагерем Дахау, я, кажется, выбрал бы Дахау...

Да, ужасна мысль несчастного врача; не менее ужасны его показания – против Советского Союза.

Однако в тридцатых годах нацисты только показали ноготки. В сороковых они вонзили когти и зубы в тело еврейского народа. Со всей своей методичностью и пунктуальностью немцы построили газовые камеры и крематории, в которых погибли миллионы людей, среди них полтора миллиона детей. Заводы "Топф и сыновья" в Эрфурте доложили германскому правительству со страниц газет радост-

ную новость: сделано важное техническое усовершенствование — автоматизирована доставка человеческих тел к печам. На другом немецком заводе проделана не менее важная работа: построили машину для перемалывания в муку человеческих костей и подсчитали с немецкой педантичностью, что за час машина может переработать четыре кубометра костей. Из еврейских костей немцы делали муку и продавали ее в магазинах; из трупов делали мыло и посылали его в подарок своим женам; волосами еврейских женщин и девушек они набивали матрацы. Шесть миллионов евреев превратились в пепел, муку и мыло. Во имя правды и памяти шести миллионов наших братьев не станем делать никаких сравнений между немецкими лагерями уничтожения и другими концентрационными лагерями, в том числе советскими.

И немецкие лагеря уничтожения, и советские исправительно-трудовые лагеря — затея дьявола. Но и дьявольские дела различны. Различие между истребительными и исправительно-трудовыми лагерями кроется в одном небольшом слове: шанс. Немецкие убийцы не оставляли своим жертвам никакого шанса; у заключенных советских исправительно-трудовых лагерей шанс имеется — шанс очень малый, но и малый шанс что-то значит.

Из всех охотничьих рассказов офицера, моего соседа по маленькой камере в Лукишках, больше других мне врезался в память рассказ о старинном охотничьем правиле. Охотник топает километры по лесу, вязнет в болоте, промокает до нитки под

проливным дождем, дрожит от холода и вот наконец видит на земле стаю диких птиц — свою добычу. Он поднимает ружье. Целится, целится... но на курок не нажимает. Он прошел утомительный путь, добыча перед ним, если не выстрелит теперь — возможно, останется ни с чем. Но охотник ждет и не стреляет, потому что птица отдыхает — на земле, на воде, на дереве. Как только стая поднимается в воздух, получив свой шанс, охотник нажимает на курок. Попал — придет домой с добычей; не попал — вернется с пустыми руками, а птица продолжит свой путь. Таков закон охоты.

Пусть не говорят, что для жертвы нет различия между лагерями уничтожения и исправительно-трудовыми, дающими своим жертвам хоть какой-то шанс. Пусть не говорят, что мгновенная смерть предпочтительнее. Лагеря Гиммлера были лагерями быстрого уничтожения, лагеря Берии проделывали ту же работу медленно. Разве смерть после минутных мук не предпочтительнее смерти после многолетних мучений? Нет, не предпочтительнее. Все определяется шансом на спасение. Не мертвые проклинают дьявола и борются с ним, а те, кому удалось вырваться из его рук. Если бы шесть миллионов европейских евреев были отправлены в леса Архангельска, в угольные шахты Воркуты, на золотые прииски Колымы или медные рудники Урала, полтора, два, а может быть, и три миллиона остались бы в живых. Численность нашего народа сегодня составляла бы не одиннадцать, а четырнадцать, пятнадцать, а то и шестнадцать миллионов человек. "Маленькая"

разница. Бедный еврейский врач, попавший из рук одного тирана в руки другого, был готов – так он, по крайней мере, говорил – поменять Печорлаг на Дахау, но он наверняка не поменял бы Воркуту на Освенцим.

Может быть, различие между германскими и русскими лагерями в том, что офицеры НКВД не так жестоки, как их коллеги из СС? Чепуха. И те, и другие выкинули из своего словаря слово "пощада", оставив это слово с приставкой "без". Перелистайте нацистские газеты, и вы убедитесь, что почти на каждой странице можно встретить слово "рюкзихтслос", перелистайте подшивку "Правды", и вы найдете почти на каждой странице то же слово: "беспощадно".

Не случайно диктаторы Германии и России со всей беспощадностью искореняли веру в Бога. Любая религия проповедует сострадание. Правда, слова порой расходятся с делом. Иезуиты говорили о милосердии и создали инквизицию. И все же слова о жалости сами по себе способны хоть как-то обуздать зверя в человеке, ограничить его жестокость. Но без веры в Бога, без слова о жалости, под звучащее с утра до вечера "рюкзихтслос", "беспощадно" – начинается охота на человека "с шансом" или без него, начинаются лагеря быстрого уничтожения или медленной смерти.

Различие между ними не в жалости, не в этической, а в экономической посылке, заключенной в советском сокращении "рабсилы". Исправительно-трудовые лагеря СССР – это резервуары даровой рабочей силы.

Массы заключенных в Советском Союзе создали крупнейшие предприятия, гидроэлектростанции, проложили железные дороги в самых глухих районах страны. Прокладку дороги Котлас—Воркута закончили (уже без меня) в 1945 году. Мерзлая земля Воркуты хранит в себе самые богатые в мире залежи угля. Об этом знало еще царское правительство, и оно даже приступило к добыче угля. Добытый уголь переправляли на судах в Архангельск, а оттуда по железной дороге в центр России. Но Баренцово море подо льдом девять месяцев в году, и поэтому транспортировка угля возможна только в три летних месяца. Большую часть времени несметные богатства оставались под снегом. Прокладка железной дороги обеспечивала бесперебойную поставку угля в течение всего года. В этом районе нашли и нефть. Возвращаясь после освобождения с севера на юг в тряском поезде, я видел много нефтяных вышек где-то на полпути между Кожвой и Котласом, в районе Ухты.

Двадцать-тридцать лет назад весь этот край представлял собой белоснежную пустыню зимой и топкое болото летом. Немногочисленные туземцы — их называли зыряне — одевались с ног до головы в меха. Они вели образ жизни обычный для всех нецивилизованных народов севера.

Сегодня по этой земле протянулась двухтысячекилометровая железная дорога. С юга на север везут людей, машины, стройматериалы; с севера на юг — каменный уголь, нефть и другие полезные ископаемые. Пустынный район превратился в "густо-

населенный". На обратном пути я видел по обе стороны реки сторожевые вышки исправительно-трудовых лагерей. От Кожвы до Котласа — целый лес сторожевых вышек. Я насчитал сотни лагерей. Сколько здесь было людей? На моем пункте было около тысячи человек — средний по величине пункт. Подсчитать нетрудно. И это всего лишь один район. Нет в Советском Союзе почти ни одной области, над которой не возвышались бы архитектурные сооружения советской готики: сторожевые вышки.

Административным управлением, снабжением, планированием и финансовым учетом в районах строительства ведает НКВД. Советская тайная полиция ведет колоссальное строительство. В СССР нет частной собственности и есть только один работодатель: власть. Но единственный работодатель сдал в аренду крупнейшие стройки "подрядчику", тоже единственному, — НКВД. Это крупнейший подрядчик в мире, он эксплуатирует рабочую силу, возможно, самую дешевую в мире.

Строительство растет, вместе с ним растет и множится рабочая сила. Если ее не хватает, ее надо создать; если она иссякает, ее надо восполнить. Поэтому никого не должно удивлять, если в один прекрасный день сотни советских граждан арестованы (о таком случае мне рассказали в Ташкенте) за ... безбилетный проезд в трамвае. В Ташкенте проезд в трамвае стоит всего несколько копеек. Иногда пассажир не успевает уплатить; некоторые любят проехаться "зайцами" и не хотят платить даже гроши. В большинстве случаев платят; в большинстве

случаев не обращают особого внимания на безбилетников. Но вдруг всех трамвайных "зайцев" задерживают и отправляют – ненадолго, на год-два – в исправительно-трудовые лагеря. Некоторые выходят через год; некоторым продлевают срок. Тем временем они строят. Гарин однажды мне сказал: "У нас всего не хватает". Из этого правила следует исключить рабочую силу: ее в Советском Союзе всегда достаточно.

Бывший директор ленинградского мясозаготовительного комбината рассказал мне такую историю. Его арестовали за "растрату общественных средств", по знаменитому указу Президиума Верховного Совета СССР, обвинив его в том, что он платил слишком высокие цены за плохой по качеству скот. Допрашивал директора следователь, его бывший друг. Во время короткого перерыва следователь зашел в соседний кабинет своего начальника, оставив случайно дверь приоткрытой. Из комнаты доносился громкий сердитый голос начальника. Он говорил по телефону. Собеседник, видимо, ответил, что собирает материал. Начальник взорвался: "Мне не нужен материал, люди мне нужны. Давай людей!" Вот об этом должны заботиться следователи, за это они отвечают.

Если подрядчику – НКВД – нужны люди, почему же он так расточительно относится к своей рабочей силе? Почему не создает условия труда, в которых рабсила может жить, работать, строить? На этот вопрос имеется два ответа. Рабсила должна быть возможно более дешевой – непреложный хозяйст-

венный закон. Во-вторых, не надо забывать, что, кроме потребностей строительства, в НКВД действует закон мести. Рабсила – это "враги народа". Рабсила должна работать, "враги народа" должны подохнуть. Никогда не будет нехватки во "врагах народа". Никогда не будет нехватки в рабсиле. Противоречие между двумя законами устраняется одним словом: беспощадно!

Некоторые считают, что Кремль перенял это слово вместе с правилом: "Цель оправдывает средства". По-моему, они ошибаются.

Этим известным правилом иезуитов действительно пользовались многие тираны для оправдания своей жестокости и лжи. Но, следуя исторической правде, надо признать, что тем же принципом пользовались борцы за свободу и справедливость. Хасмонеи и покорители Бастилии, Бар-Кохба и Спартак, Вашингтон и Гарибальди восстали против тиранов и поработителей с верой, что цель их борьбы оправдывает применение оружия и кровопролитие. Одна правда не может бросить тень на другую – обе они неразрывно связаны с судьбой человечества. Железо способствовало невиданному прогрессу человечества и в то же время навлекло на него страшные беды. Оно обогатило жизнь и умножило смерть. То же можно сказать и про правило: "Цель оправдывает средства".

Сказав, что кремлевским правителям этот принцип кажется наивным, романтическим, мелкобуржуазным, сказав, что, по их мнению, цель оправдывает любые средства, мы сделаем важный шаг на

пути к пониманию философии, направляющей их действия, но этого недостаточно. Кремлевская философия в законченном виде гласит: "Любая цель оправдывает любые средства".

Официальной целью коммунистов является создание бесклассового общества, несуществующего государства. Эта цель, по их мнению, оправдывает любые средства, способные приблизить ее достижение, все средства. Но на длинном пути создания такого государства средства для достижения цели сами по себе превращаются в цели. И снова: каждая цель в отдельности оправдывает любые средства.

Коллективизация считается одним из средств воплощения в жизнь коммунистических принципов. Но если коллективизация сама по себе становится целью, для ее достижения допускаются любые средства. Допускается открытый, массовый обман.

Ленин обещал крестьянам землю, чтобы создать союз рабочих и крестьян. Это не было оригинальным обещанием. Свою аграрную программу Ленин, как он сам признавал, почти слово в слово списал у эсеров. Эсеры, как известно, обещали русским крестьянам не коллективные хозяйства, а частную собственность на участки земли после раздела помещичьих усадеб. Но если коллективизация объявлена целью, то можно отказаться от плана, который был не только планом Ленина, но и законом революции. Можно не считаться ни с тружениками земли, ни с рабочими. Миллионы крестьян объявлены врагами народа и брошены в исправительно-трудовые лагеря; миллионы рабочих умирают с голоду даже

в самых плодородных районах страны, так как некому обрабатывать землю.

Партия и правительство решили, что промежуточным средством является превращение крестьян в сельскохозяйственных рабочих, и этого достаточно, чтобы объявленная цель оправдала любые средства, в том числе истребление миллионов людей.

Если промежуточная цель — натравить одну страну на другую, чтобы самим "навести порядок в Европе", то эта цель оправдывает "кровный союз" с нацистской Германией, оправдывает оказание ей всемерной помощи, когда она вторгается во Францию.

И если даже цель незначительна по сравнению с "целью целей" — прокладка железной дороги, например, — она все равно оправдывает все средства: "Дорога будет построена, даже если под каждым метром рельсов придется положить по человеку".

На этой основе выросли методы следствия НКВД, его стройки, исправительно-трудовые лагеря и медленное умирание в них.

Поколение, видевшее сторожевые вышки в советских исправительно-трудовых лагерях и трубы крематориев немецких лагерей массового уничтожения; поколение, лишенное веры в Бога и слышавшее призыв: "Беспощадно!"; поколение, которому суждено было пережить большевизм и фашизм, нацизм и сталинизм; поколение, познавшее два предела — предел жестокости тиранов и вершину героизма и самопожертвования борцов за свободу, — это поколение обязано извлечь урок:

Цель оправдывает средства? — Если ты восстал против тиранов и поработителей, можешь без колебаний подтвердить это правило.

Любая цель оправдывает средства? – Нет!

Цель оправдывает любые средства? – Нет!

Любая цель оправдывает любые средства? — Нет и еще раз нет!

21. СТРАНСТВИЯ

Несколько месяцев я скитался по России. Проделал огромное расстояние от Баренцова моря до Каспийского. Пришлось побывать в больших городах и местечках, в отрезанных от внешнего мира деревнях. Ночи проводил на вокзалах, в городских парках, во дворах возле убогих хат. У таких, как я, не было ни крова, ни пищи. Мы отмахали сотни километров, стоя на подножке поезда, держась за дверную ручку или друг за друга. Денег на билеты у нас не было. Не раз контролеры сбрасывали нас на ходу поезда. Я держал путь на юг. Искал сестру и ее мужа, сосланных в глубь России еще до моего ареста в Вильюисе; я искал также польскую армию, которая должна была быть сформирована согласно советско-польскому соглашению.

Как разыскать двух человек на необъятной земле, среди миллионов освобожденных из тюрем, массами двинувшихся с севера и востока и смешавшихся с миллионами беженцев с запада? Если не поможет его величество случай, дело гиблое. Но случай помогает.

Я лежал в группе бродяг на одном из грязных среднеазиатских вокзалов и искал оказии влезть в поезд без билета. Была ночь, я заснул. Сквозь сон

услышал голос женщины, рассказывавшей о медных рудниках на Урале. Таких рассказов я успел наслушаться и почти не обращал внимания на еще один. Вдруг слух резанула знакомая фамилия — Гальперин, и я, не колеблясь, спросил в темноту:

— Извините, Гальперин, о котором вы рассказываете, случайно не адвокат?

— Да.

— Он из Варшавы?

— Да.

— Он был в ссылке с женой?

— Да.

— Ее зовут Рахель?

— Да, да, вы их знаете?

Так мне удалось разыскать сестру с мужем. Тогда я еще не знал, что, кроме них, никого из моей семьи не осталось в живых.

Вместе с моими родными и их подругой по ссылке Леей Витковска мы застряли в маленьком узбекском городке Джизак между Ташкентом и Самаркандом.

Лея Витковска была очень душевная женщина. Когда-то она была активисткой Бунда (везло мне на бундовцев). Выехав из Советского Союза спустя несколько лет, она выступила перед комиссией ООН с показаниями об условиях жизни и труда на советских медных рудниках. Она рассказала международной комиссии то же, что рассказала мне в Джизаке при свете керосиновой лампы — как рискуют жизнью и здоровьем шахтеры, спускаясь на большую глубину под землю на лестницах, связанных

одна с другой. Расстояния между поперечинами слишком велики, и рабочим приходится в темноте, над пропастью искать ногами следующую вслепую; прогнившая перекладина часто ломается под ногами, и тогда инвалидность и даже смерть грозит не только человеку, повисшему на руках над бездной, но и его товарищам, не услышавшим вовремя предупредительного крика. Она рассказала о двенадцатичасовом рабочем дне, о скудном питании рабочих и яствах, которые получают работники НКВД.

Но когда Лея Витковска закончила свой рассказ – не в Джизаке, а в ООН, – один член комиссии заявил: "Нам известно, что эта женщина – профессиональная шпионка".

Лея Витковска и ее подруга жили в Куйбышеве, куда на время переехало советское правительство, и они рассказали мне об аресте двух руководителей Бунда Альтера и Эрлиха. НКВД арестовал этих двух деятелей партии, против которой с таким пылом в свое время выступал сам Ленин, сразу после падения Польши и приговорил к обычному сроку – к восьми годам исправительно-трудовых лагерей. Они были освобождены по амнистии польским гражданам, приехали в Куйбышев и вступили в контакт с польским представительством и советским правительством. Однажды их пригласили на встречу с главой НКВД Берией. С этой "дружеской" встречи они не вернулись. Другие активисты Бунда написали Лее Витковска, что "Виктор и его друг заболели тяжелой болезнью". Через несколько месяцев было опубликовано официальное сообщение о том,

что два руководителя Бунда казнены за "содействие немецкой армии".

Если я решусь утверждать, что Альтер и Эрлих стали жертвами нападения Японии на Пирл-Харбор, меня наверняка обвинят в пристрастии к парадоксам. Но я убежден, что это не парадокс. На судьбу человека часто влияют далекие международные события, а он и близкие ему люди этого даже не чувствуют.

Альтер и Эрлих были нужны Советскому Союзу до тех пор, пока Соединенные Штаты не были втянуты в мировую войну. Зимой 1941 года немецкие дивизии были остановлены на подступах к Москве и Ленинграду, но общее положение оставалось чрезвычайно серьезным. В день Октябрьской революции, 7 ноября, выступая на Красной площади, Сталин счел нужным утешить народ: "Война продлится полгода, может быть — год"... Странное заявление для диктатора с репутацией реалиста.

Советская Россия остро нуждалась в помощи западных держав, в первую очередь Соединенных Штатов. Британия начала помогать Советскому Союзу сразу после нападения Германии на Россию, но помощь невоюющих Соединенных Штатов задерживалась, откладывалась и по своим масштабам никак не могла удовлетворить потребности Советского Союза. Стремясь к скорейшему увеличению американской помощи, советское правительство различными путями влияло на общественное мнение США. С этой целью Кремль создал Еврейский антифашистский комитет, обратившийся к евреям всех

стран мира с призывом о помощи; для этого же Советский Союз намеревался отправить Альтера и Эрлиха в Америку в составе делегации Антифашистского комитета.

7 декабря 1941 года японские самолеты потопили Тихоокеанский флот Соединенных Штатов. Америка вступила в войну с Японией и Германией, стала воюющей стороной. Тем самым России, остановившей немецкие дивизии и не давшей им объединиться с японским союзником, обеспечен был непрерывный колоссальный поток оружия, боеприпасов и продовольствия из США. Альтер и Эрлих оказались ненужными для обработки американской общественности — вполне хватало собственных, советских "антифашистов", вроде Михоэлса и Фефера. Но Альтер и Эрлих всегда были противниками большевиков, и на них распространяется закон мести; кроме того, они были патриотами Польши и требовали признания прав Польши на территорию к Востоку от Буга. Опасный, но желательный элемент может жить в России, но опасному и нежелательному НКВД не оставляет шансов: его ждет уничтожение. Со вступлением Америки в войну решилась судьба Эрлиха и Альтера: им суждено было умереть в качестве "немецких шпионов".

Я узнал о повторном аресте лидеров Бунда. То, что это произошло буквально на глазах польского посла, заставило меня вновь искать способа вступить в польскую армию. Я уже пытался сделать это и раньше, до встречи с сестрой, но безуспешно. Я

искал на просторах России польскую армию, но вскоре понял, что польская армия вовсе не ищет меня.

"Евреи нежелательны", — сказали поляки, и слух об этом пронесся по всей стране. Сталин якобы сказал Сикорскому и Андерсу, военачальникам польской армии в Советском Союзе, что евреи бывают хорошими военными администраторами, инженерами и врачами, но воевать они не умеют. Не хотелось верить этому слуху. Мы думали, что поляки намеренно распространяют его для оправдания проводимой ими дискриминации польских евреев.

Спустя несколько лет я убедился, что слухи были правильные. Антиеврейская солидарность сблизила таких разных людей, как Сталин и Молотов, с одной стороны, и генералы Сикорский и Андерс — с другой.

В своих мемуарах генерал Андерс приводит полную стенограмму переговоров Сталина с польскими представителями. Среди прочего приводится следующий обмен мнениями:

АНДЕРС: Я полагаю, что в моем распоряжении будет около ста пятидесяти тысяч человек, но среди них много евреев, не желающих служить в армии.

СТАЛИН: Евреи плохие солдаты.

СИКОРСКИЙ: Среди евреев, вступивших в армию, много торговцев с черного рынка и контрабандистов. Они никогда не будут хорошими солдатами. В польской армии мне такие люди не нужны.

АНДЕРС: Двести пятьдесят евреев дезертировали из военного лагеря в Бузулуке, когда посту-

пили ошибочные сообщения о бомбардировке Куйбышева. Более пятидесяти евреев дезертировали из Пятой дивизии перед раздачей оружия.

СТАЛИН: Да, евреи плохие солдаты.

Во время второй встречи со Сталиным представители польского правительства выразили озабоченность в связи с положением польских граждан, мобилизованных в Красную армию и не переведенных, в соответствии с польско-советским соглашением, в польскую армию. На этот раз польские генералы отстаивали права национальных меньшинств. Что вызвало столь удивительную перемену? Мемуары Андерса дают ответ на этот вопрос и показывают, что генерал Сикорский заслуженно пользовался репутацией способного и умного дипломата.

СИКОРСКИЙ: Меня поражает, что вы до сих пор не хотите демобилизовать из Красной армии и трудовых полков всех польских граждан — жителей территорий, оккупированных в 1939 году.

СТАЛИН: Но мы их отпускаем.

АНДЕРС: Освобождение из трудовых полков началось только в последнее время, и пока освобождают только поляков. Нас официально уведомили, что белорусов, украинцев и евреев не освободят. А ведь они были и фактически продолжают оставаться гражданами Польши.

СТАЛИН: Какое вам дело до белорусов, украинцев и евреев? Вам нужны поляки, они самые хорошие солдаты.

СИКОРСКИЙ: Я думаю не о людях; их можно будет обменять на поляков — граждан Советского

Союза. Но с принципиальной точки зрения я никак не могу согласиться с нестабильностью границ Польской республики...

Беседы, стенограммы которых Андерс приводит в своих мемуарах, состоялись зимой 1942 года, но польские евреи о них тогда не знали, хотя и чувствовали на себе их последствия. Освободившись из исправительно-трудового лагеря, я не смог вступить в польскую армию. Сикорский сказал: "Спекулянты", Андерс сказал: "Дезертиры", Сталин сказал: "Плохие солдаты". Польские генералы были рады получить от самого Сталина моральную санкцию на дискриминацию евреев.

Многие евреи оказались тогда зажаты в тисках презрения и ненависти советского генералиссимуса и польских генералов. Через несколько лет все три полководца поняли, что евреи умеют воевать. От имени Сталина это признал политический комментатор "Правды" Д. Заславский, восторгавшийся на международной конференции журналистов в Праге деятельностью ЭЦЕЛа и мужеством его бойцов; с восторгом и даже гордостью об ЭЦЕЛе говорили бывшие командиры польской армии. В своей книге генерал Андерс даже повысил меня ретроактивно в звании — до капрала; правды ради надо сказать, что в его армии я не поднимался в звании выше рядового. Но и рядовым я стал благодаря случаю.

Узнав об аресте Альтера и Эрлиха, я решил тут же покинуть город Джизак, в котором многие знали

о моем сионистском прошлом. Я выехал в Маргелан, второй по величине город Ферганской долины. Здесь была дивизионная база польской армии. В штабе дивизии я встретил своего друга Шескина. Оказалось, что в Куйбышеве он вел переговоры о формировании еврейского отряда в рамках польской армии, но все его усилия ни к чему не привели, и он, мобилизовавшись в армию, был назначен начальником отдела снабжения при штабе дивизии. Через несколько недель после прибытия в Маргелан сестра сообщила мне из Джизака, что нашу маленькую татарскую мазанку посетил "неизвестный" и спросил, где меня можно найти...

В Маргелане я встретил двух бейтаровцев из Вильнюса — Лихтмахера и Бразецкого. Они не раз спасали меня от голода и полного изнеможения. Я поговорил с Шескиным, и мы решили посоветоваться с доктором Йохананом Бадером, говорили, что он большой дока по части шансов на получение разрешения на выезд в Эрец Исраэль.

Доктор Бадер был сослан с семьей в глубь страны и поселился в туркменском городе Мары. Чтобы встретиться с нами, ему пришлось проделать очень длинный путь. Доктор Бадер сразу категорически заявил, что шансов на получение советских виз нет, и посоветовал мне приложить все усилия, чтобы вступить в польскую армию.

Я послушался его совета и предстал перед призывной комиссией дивизии. Врач осмотрел меня.

— Послушайте! — закричал он. — У вас тяжелое сердечное заболевание. Как вы можете быть солдатом?

Врач почти напугал меня.

Он проверил мои глаза и снова закричал:

— Пан Бегин, у вас очень плохое зрение. Вы никогда не сможете хорошо стрелять.

Короче, меня забраковали.

Получив тревожное сообщение от сестры, я решил еще раз попытать счастья и обратился с письмом непосредственно к начальнику штаба. С некоторым риском для себя я открыто написал, что только армия может спасти меня от вторичного ареста. Шескин позаботился о том, чтобы письмо попало в руки начальника штаба. Спустя несколько дней я спросил адъютанта о моем письме. Адъютант ответил, что начальник штаба хочет встретиться со мной и потом решит, буду ли я принят в армию.

Беседа решила дело в мою пользу. Начальник штаба с улыбкой предупредил, что, если дивизия отправится за границу, он уделит мне особое внимание и позаботится о том, чтобы мне не удалось бежать в Эрец Исраэль. К концу беседы он предложил мне обратиться в призывную комиссию. Я сказал, что прошел проверку и меня признали негодным.

— Ничего, там будет мое письмо, пойдите еще раз.

Я предстал перед знакомой призывной комиссией. Врач, обследовавший меня в первый раз, удивленно и сердито спросил:

— Я не ошибаюсь? Вы у нас, кажется, уже были?

— Да, — ответил я, — был. Но начальник штаба приказал мне пройти проверку еще раз.

— Начальник штаба?

Врач подошел к майору, возглавлявшему комиссию. Тот порылся в документах и сказал лейтенанту-врачу:

— Да, есть. Обследуйте его, пожалуйста.

Врач прослушал меня.

— Сердце и легкие, — сказал он громко, — отличные. Легкие — как железо.

Он велел мне прочитать буквы различной величины.

— Ну, — сказал он, — вы немного близоруки, но в нашей армии научитесь хорошо стрелять. Если постараетесь, можете стать лучшим стрелком.

— Постараюсь.

Так я попал в польскую армию.

До того как я надел солдатскую форму и очутился в военном лагере, мне пришлось побродяжничать и ознакомиться с некоторыми характерными чертами жизни в Советском Союзе. Этому посвящены следующие главы.

22. ВЛАСТЬ И РАВЕНСТВО

Общепринятое определение государства включает три фактора: территорию, население и единую власть. Определение государства, введенное Лениным, включает всего два фактора: класс угнетателей и класс угнетенных. Государство, – писал Ленин, – есть машина для подавления одного класса другим. Цель пролетарской революции, по его словам, – ликвидация классов, что влечет за собой ликвидацию государства. После победы революции начинается процесс постепенного отмирания государства.

Во время моих странствий по России я не заметил никаких признаков отмирания государства. Наоборот, присутствие государства ощущалось в каждом городе и каждой деревне, на каждом предприятии, во всех деталях жизни советского человека. Государство определяет нормы и расценки труда для каждого из миллионов своих граждан, оно выбирает для гражданина место работы и прикрепляет, под страхом "перевоспитания", к этому месту. Советское государство можно не только постоянно видеть, но и беспрерывно слышать. Напрасно обращаются американцы к советским слушателям через мощные передатчики радиостанции "Голос Аме-

рики". Лишь в немногих советских домах имеются радиоприемники. Но существующие приемники отрегулированы так, что дают возможность слушать одну-единственную местную станцию, передающую новости из Москвы. Но если гражданин и поймает передачу из-за границы, он не настолько глуп, чтобы слушать ее при жене и детях. Большинство слушает радио на улицах: государство обращается к своим гражданам через рупор громкоговорителя с раннего утра до позднего вечера.

Любому ясно, что государство в Советском Союзе не только не отмирает, но, напротив, распространяет свою монополию на все области общественной и личной жизни. Если согласиться с определением Ленина, уместно спросить: где угнетатели и где угнетаемые в России после полной ликвидации дореволюционного класса угнетателей — помещиков и капиталистов? В связи с этим встает проблема общественного равенства в стране коммунизма.

Я считаю, что коммунизм многого достиг не силой, а лозунгом о равенстве. Коммунизм обещал землю крестьянам, мир солдатам, хлеб голодным, обеспеченную жизнь бедным. Все эти обещания и тогда, когда их раздавали направо и налево коммунисты-ленинцы, могли показаться сомнительными дальновидному человеку. Теперь все видят, что для сомнений были основания.

Стремление человека к равенству так же естественно, как стремление к свободе. Покуда большая часть человечества искренне считала, что люди от рождения не равны, стремление к равенству откры-

то не проявлялось. Но после Французской революции и особенно после революции в сознании, происшедшей в результате Первой мировой войны, немногие продолжают верить в природные различия между обитателями дворцов и кварталов бедноты.

Коммунизм призывает к бунту против этих различий. В этом призыве была и до сих пор остается его основная сила.

Не случайно коммунистическая революция победила, вопреки знаменитому утверждению Маркса, не в высокоразвитой, а в отсталой стране. В развитых странах не осуществился процесс, заложенный в основу предсказаний марксизма: постоянное обогащение одних и постоянное обнищание других. Этот процесс, по мнению автора "Капитала", должен был привести к образованию двух классов: обладающего всем меньшинства и не имеющего ничего большинства. Но такая пропасть между отдельными слоями населения была и остается по сегодня лишь в отсталых странах. Богатые слои населения этих стран, в эгоистической слепоте, отказываются сгладить различия, преодолеть разрыв. Они сами себя обрекают на гибель, а человечество в целом продвигается к равенству.

В России произошло нечто подобное. Обеспеченные слои населения были сброшены в пропасть. Революция победила. Все полагали, что с победой революции наступит подлинное равенство. Так ли это?

Вспоминаю женщину, приговоренную к пяти годам лагерей по "подозрению в шпионаже". Из ее рассказа можно было судить о ее разрушенном сча-

стье, относительном счастье. Она привезла из Москвы меховую шубу. Ее муж был директором завода, получал большую зарплату – в несколько раз большую, чем зарплата рабочих того же завода. Он мог себе позволить купить роскошную шубу для жены. Он относился к жене, как относится к молодой любимой женщине пожилой богатый человек в любой стране. Но разве мог позволить себе такое хотя бы один из десятков миллионов советских рабочих?

На улице в Ташкенте я однажды встретил двух красивых женщин в великолепных меховых шубках. Дамочки благоухали дорогими духами. Они медленно прогуливались. Рядом с одной шел генерал, рядом с другой – человек в гражданском, красиво и элегантно одетый. Тут же стояли, шли, бежали рядовые советские граждане в своих обычных лохмотьях. Босые, голодные, вшивые. Только спустя много лет я снова увидел шубки, похожие на те, что были на советских дамочках, – на Елисейских полях в Париже.

Но не это главное. Куда важнее понять, являются ли эти привилегии – изысканная одежда, роскошная квартира, первоклассное питание – счастливым уделом одиночек или достоянием целых слоев населения? Если привилегиями пользуются люди одного слоя населения, этот слой превращается в класс даже с точки зрения марксизма.

В Советском Союзе я наблюдал четыре разных вида снабжеиия и торговли. Не могу утверждать, что их всего четыре, но те, с которыми я ознакомил-

ся в Ташкенте, Джизаке, Самарканде и Маргелане, — без сомнения, основные и наиболее характерные.

В Советском Союзе имеются спецторг, военторг, колхозный рынок и общий рынок.

Само название "спецторг" говорит о его особенности, но по названию трудно судить, с кем этот вид снабжения и сбыта связан и для кого предназначен. Оказывается, эта сеть магазинов является собственностью Наркомата внутренних дел. Ни один человек, если он не сотрудник НКВД с удостоверением советской секретной службы, не имеет права покупать в магазине спецторга. В этот магазин не может попасть ни высокопоставленный правительственный чиновник, ни ответственный партийный работник, ни высший офицер армии. Только сотрудники НКВД и члены их семей. В трудные военные годы, когда советские люди буквально умирали от голода, стойко и мужественно перенося все лишения, офицеры НКВД выносили из магазинов спецторга белый хлеб, масло, мясо и всякое другое добро. Часть этих продуктов непременно попадала на рынок, о котором я до сих пор не упоминал — его и на русском языке называют черным рынком. Некоторые из "стражей революции" не прочь подзаработать...

В военторге, предназначенном только для военнослужащих, тоже имеются товары, которых простые граждане в глаза не видят. Черный рынок частично существует и за счет военторга.

Свободный колхозный рынок открыт перед всеми гражданами. Здесь можно достать различные про-

дукты питания. Иногда муку, иногда овощи и фрукты с приусадебного участка колхозника. Зато цены здесь в несколько раз выше государственных. Не каждый рабочий может себе позволить делать покупки на колхозном рынке, особенно в период, когда цены на товары беспрерывно растут — то из-за сниженного предложения, то из-за повышенного спроса, вызванных войной, массовой мобилизацией и наплывом беженцев.

Для простых смертных — рабочих и людей умственного труда — существует обычная сеть магазинов, в которых очень мало что можно купить по дешевым государственным ценам, в основном хлеб.

Итак, верх социальной пирамиды в России — это НКВД с его спецторгом; в самом низу — серая масса трудящихся; на промежуточных ступенях — партийные и правительственные работники. Деление общества — с точки зрения снабжения основными продуктами, пожалуй, — является основным и решающим. Если судить по денежным доходам, что также важно, на высшую ступень пирамиды поднимаются люди, поставляющие народу развлечения: певцы, музыканты, актеры, писатели и другие деятели искусств. У каждого слоя свой рынок, у каждого класса — свои привилегии.

Различия между отдельными слоями населения в России не похожи на различия в других странах, где в основе лежит частная собственность на средства производства. В капиталистических странах основой является имущество; в Советском Союзе — должность в аппарате власти. В Россин нет огром-

ных количественных различий (характерных для других стран) между владельцами акций крупной компании и простыми рабочими или служащими. Отсутствием этих различий гордится каждый советский человек, даже те из них, кто помнит еще дореволюционные годы. Не раз мне приходилось слышать:

– Видите этот большой завод? Он не принадлежит никакому фабриканту!

Никогда не скажут: "Завод принадлежит нам"; иногда можно услышать: "Завод принадлежит государству", но обычно довольствуются отрицанием факта принадлежности, и этим очень гордятся.

Самые существенные различия между классами в России не количественные, а качественные.

Различие между поглощающим вкусные блюда и утоляющим голод самой простой едой – количественное; различие же между сытым и голодным – качественное. Различие между человеком, у которого пять костюмов, и человеком, у которого один костюм, – количественное; различие между прилично одетым человеком и человеком в лохмотьях – качественное. Различие между человеком, у которого три пары ботинок, и человеком, у которого одна пара, – количественное; различие между обутым человеком и босым – качественное. В России я видел в основном качественные различия. Я видел людей сытых и голодных, одетых прилично и одетых в тряпье, обутых и босых. Существование больших количественных различий несправедливо, но во сто крат страшнее качественные различия между людьми.

Мне могут напомнить, что я был в России в годы войны и нельзя сравнивать условия жизни в военные годы с условиями мирной жизни. Это утверждение неверно. Я видел не только беженцев и вчерашних арестантов; я знакомился с образом жизни советских граждан в местах их постоянного проживания. Поток беженцев не всегда приносил им убытки; напротив, местные жители часто были рады купить у беженцев рубашку, пальто или пару ботинок. Я спрашивал, отличалось ли снабжение основными товарами в довоенное время от нынешнего. Отличалось, — отвечали мне, — но не очень. У нас всегда была нехватка товаров, но мы этого не стыдимся. Подобные утверждения я слышал много раз, и они очень не похожи на заявления советских солдат, служивших в Вильнюсе и Каунасе. Те обычно говорили: "У нас все есть. Хочешь спички?.. У нас все есть". Но в Вильнюсе я слышал также рассказы парикмахеров о трудовых лагерях.

Самая характерная отличительная черта советского общества — экономическое превосходство сотрудников НКВД. На них всегда чистые новенькие мундиры или элегантные гражданские костюмы. Сапоги или ботинки начищены до блеска, продукты питания и товары они получают в спецторге. Перемены в иерархии власти, о которых рассказал мне Гарин, нашли отражение и в экономике. При Ленине секретная служба была орудием в руках правящей коммунистической партии; в то время не было спецторга. При Сталине компартия стала орудием в руках НКВД, и возник спецторг.

Но неужели в Советском Союзе не завидуют привилегированным? А если эта естественная и справедливая зависть голодных и босых существует, почему она не находит выражение и выход, как в других странах, где имеются качественные различия между отдельными слоями населения?

Ответ на этот вопрос дает деятельность НКВД. Ему удалось жестоким террором убедить советских граждан в полной безнадежности и бесполезности любой попытки воспротивиться приказам властей и существующему порядку. Ему удалось вселить страх в сознание граждан. Это не просто страх перед властями и наказанием. Это страх перед катастрофой. Страх перед появлением зеленых фуражек напоминает страх человека, повисшего над глубокой темной пропастью.

В России существует глубокая классовая зависть, но если в других странах зависть часто превозмогает страх, то в Советском Союзе страх всегда пересиливает зависть.

В Советском Союзе нет экономического равенства, обещанного коммунизмом, но в царстве НКВД существует одно равенство: равенство страха.

23. ОЧЕРЕДИ

"Что дают?" – этот вопрос несется по просторам Советского Союза, из одного конца страны в другой. Советский гражданин никогда не спросит: "Что продают?" Он спрашивает: "Что дают?" – и, получив ответ, становится в конец очереди, и если очень повезет, то после долгого, утомительного стояния он купит на свои деньги то, "что дают". Некоторые даже не задают обычный вопрос и, увидев длинную очередь, занимают место в хвосте. В конце концов выясняется, что это очередь не за хлебом или мылом, а за квитанциями на... дезинфекцию.

В Джизаке я познакомился с еврейкой, у которой муж был русский. У нее было лицо ангела, но судьба обошлась с ней очень жестоко. В результате аварии у нее оказались парализованы обе ноги, и она на всю жизнь была прикована к инвалидной коляске. Ее муж, молодой, энергичный, высокий и красивый человек, был ей предан всей душой. Детей у них не было, и мужу приходилось после работы до поздней ночи простаивать во всевозможных очередях.

Женщина очень жалела мужа, которому приходилось после тяжелой работы стоять в очередях. Не раз она мне жаловалась на жизнь в очередях, от-

нимающих последние остатки времени и энергии у людей. Я спросил, когда появились в Советском Союзе очереди: еще до войны или с началом войны и потоком беженцев? В ответ она засмеялась: "У нас без очереди невозможно, – сказала она. – Очереди были и до войны, всегда были очереди. Мы этого не стыдимся. Мы знаем, что вам за границей жилось лучше. Но у нас зато имеются высокие цели. Главное – с нами Сталин. А теперь, Менахем Вольфович, расскажите, как было у вас, расскажите, пожалуйста. Как вы доставали продукты?

– Очень просто, – ответил я ей. – Жена звонила утром в бакалейную лавку и заказывала булочки, масло, сыр, а потом мальчик-рассыльный приносил нам все заказанное домой.

Женщина долго весело смеялась.

– Почему вы смеетесь? – удивленно спросил я ее.

– Менахем Вольфович, – ответила она, справившись с приступом смеха. – Ведь мы говорим, как друзья. Я рассказала вам правду об условиях жизни в нашей стране. Почему же вы повторяете слова капиталистической пропаганды?

– Какой такой капиталистической пропаганды? – удивился я. – Я рассказал вам правду. Уверяю вас, что жена именно так и получала продукты, если ей не хотелось самой спуститься в магазин. Вы мне не верите?

– Бросьте, бросьте, Менахем Вольфович. Знаете, мне бы не пришло в голову обижать вас, почему же вы обижаете и оскорбляете меня, считаете дуроч-

кой? Я кое-что слышала из пропаганды о жизни в капиталистических странах, но почему вы должны повторять эти нелепости? Я верю, что вам жилось легче, чем нам. Но чтобы так, по телефону заказать масло, сыр... Да еще приносят домой?.. Бросьте, бросьте, Менахем Вольфович, и не рассказывайте мне больше сказки.

Все попытки убедить ее кончились провалом. Женщина смеялась и просила: "Бросьте, бросьте". Никак не могла и не хотела поверить, что можно жить без очередей, заказывать товары по телефону и получать с доставкой на дом такие "деликатесы", как масло или швейцарский сыр. Капиталистическая пропаганда – и все тут! Она и ее муж, ровесники революции, даже мечтать не могли о заказе по телефону. Может быть, они в душе желали избавиться от очередей, но сомневались в возможности этого. Если бы очереди немного уменьшились и пришлось простаивать в них меньше времени, они с радостью повторили бы вслед за Сталиным: "Жить стало лучше, жить стало веселей"...

Создана целая наука об очередях в России, в которых стоят мужчины, женщины, старики, подростки и дети. Члены одной семьи сменяют друг друга, закрепляя тем самым место в очереди. Большие, многодетные семьи – это аристократия очередей. Им удается держать места в нескольких очередях одновременно. Труднее приходится малым семьям, холостякам вообще не позавидуешь.

В Свердловске я однажды встал в длинную очередь за хлебом. Стояло не менее тысячи человек. Про-

стояв несколько часов, я заметно приблизился к окошку продавца. За моей спиной были уже сотни людей. Рост очереди за спиной человека здорово утешает и почему-то облегчает ожидание. Вдруг сообщили, что хлеб кончился. Радость человека, получившего хлеб последним в такой очереди, не сравнить ни с чем в мире. Остальные были разочарованы, но терпеливо ждали: обещали привезти новую партию хлеба. Надо ждать, чтобы сохранить место в очереди. Но прошло несколько часов, а хлеб не привозили. Кто-то вдруг закричал: "У кого карандаш?" У кого-то в голодной очереди нашелся огрызок химического карандаша, и он пожертвовал его на пользу общества. Человек с карандашом пошел вдоль очереди, предлагая каждому поплевать на ладонь. Потом он вывел на ладонях большими цифрами номер каждого в очереди. Я тоже получил свой номер и пошел прогуляться. Я прикинул: даже если хлеб привезут сейчас, мне придется ждать не менее двух-трех часов. Я отправился в город. Надеялся встретить советских евреев старого поколения. Хотелось узнать, нет ли здесь синагоги. Я встретил старых евреев, но синагогу найти не смог. Зашел в агитпункт, просмотрел газеты и полистал сочинения Ленина. Углубившись в чтение, совершенно забыл про голод. Когда я вернулся к очереди, оказалось, что мой номер прошел, и мне пришлось ст ь в самый конец. Очередь не знает жалости.

Очередь не знает и вежливости. Молодой человек не уступит места старику, мужчина не пропустит вперед женщину или ребенка. Все голодны. Все дро-

жат от холода, всех ждет дома голодная семья. Очереди есть форма борьбы за существование, а вежливость бывает, когда есть существование без борьбы. Иногда пропускали вперед женщину с ребенком на руках, но чаще и того не делали. Взбудораженные нервным ожиданием, люди поясняли друг другу, что женщины нарочно приносят с собой младенцев, чтобы вызвать жалость и пролезть без очереди.

Об этом в очереди говорят: примазывается. Примазываются не только женщины с детьми, но и те, кто нарочно завязывает дружескую беседу со стоящими в очереди. Человек затевает невинный разговор со стоящим в начале, а когда остальные привыкают к нему, он понемногу втискивается в очередь и получает продукты. Это значит, что ему удалось примазаться. Но чаще это не проходит, и очередь разражается криком: "Эй, ты, чего примазываешься?!"

Постоянная нехватка продуктов в Советском Союзе заметно отразилась на характерном для русских гостеприимстве, и точно так же очереди почти полностью уничтожили вежливость в отношениях между людьми. В Ташкенте я поблагодарил женщину, отвесившую мне хлеб. Она повернулась к подруге и рассмеялась: "Слышишь? Он стоит в очереди, платит деньги и еще говорит спасибо!"

Если вежливостью в очереди не заразишься, то сыпным тифом в ней заразиться можно вполне. Узбеки рассказали мне, что эпидемии тифа здесь бывают каждый год. Основной распространитель болез-

ни – очередь, так как за долгие часы давки вши свободно переходят от одного человека к другому. С этой заразой русские борются в основном при помощи санпропускников. Возле каждой бани установлены камеры, в которых поддерживается высокая температура. Одежду и белье вводят в камеру, высокая температура и пар убивают вшей. Русские очень гордятся этим гигиеническим сооружением. Советский солдат, служивший во Львове до гитлеровского вторжения, сказал мне: "Да, Львов красивый город, здесь много кинотеатров, ресторанов, но народ очень уж некультурный, во всем городе я не нашел ни одного санпропускника". Без этого "культурного достижения" положение с гигиеной в России было бы, несомненно, намного хуже, но тесные очереди обычно возрождали к жизни то, что умерщвлял перегретый пар.

Почему советские власти не ликвидируют очереди? Трудно найти удовлетворительный ответ на этот вопрос. Теоретически очередь ликвидировать нетрудно. Если бы в городе Джизак, например, власти открыли десять дополнительных пунктов по продаже хлеба, исчезла бы длинная очередь на грязных улицах города. Но, возможно, все не так просто, если принять во внимание организационные проблемы, связанные со снабжением двухсот миллионов человек. Власти, весьма возможно, заинтересованы в сохранении очередей. Очередь, правда, вызывает внутреннее, скрытое озлобление, но человек привыкает к очереди (а к какой беде человек не привыкает?), а в очереди он думает лишь об одном:

как бы добраться до заветного окошка, получить то, что "дают", не вернуться домой с пустыми руками.

Государственная система снабжения делает ненужным посредничество между изготовителем и потребителем. В Советском Союзе нет торговцев: товары продают торговые работники, находящиеся на государственной службе. Но неужели с ликвидацией класса торговцев в Советском Союзе исчезло само понятие торговля?

Слова Гарина: "У нас всегда всего не хватает" – относились, как я понял во время своих странствий, к предметам потребления. Целыми днями я ходил по Ташкенту в поисках обыкновенной зубной щетки, но так и не достал. Как трудно достать горелку для примуса! Сколько недель приходится искать стеклянный цилиндр для керосиновой лампы! Эта хроническая нехватка не должна вызывать удивления. Если единственный властелин является одновременно и единственным "кормильцем", он, естественно, ставит во главу своих забот не удобства потребителя, а потребности власти, и в первую очередь – развитие тяжелой промышленности и военные нужды.

Мои русские собеседники не скрывали, что, по их мнению, постоянная нехватка товаров объясняется исчезновением прослойки населения, в задачу которой входит забота о личных интересах граждан, иными словами – исчезновение торговцев. "Было бы хорошо, – говорили они мне, – если бы власти разрешили мелкую торговлю". Никто из русских,

с которыми я беседовал, не сказал, что и заводы следует передать в частные руки. В то же время все желают расширения свободного колхозного рынка, то есть увеличения земельных участков, находящихся в частном пользовании крестьян. Особенно ярко выразил тоску по мелкой торговле человек, признавшийся в разговоре со мной, что он троцкист. Разумеется, встретился я с ним не в очереди, а на берегу Печоры. Этот человек, по национальности русский, начал беседу с похвал еврейскому уму. "Я был за Троцкого, – сказал он, – и всегда буду за него, пусть мне даже придется здесь умереть. Если бы Троцкий был у власти, наша жизнь стала бы совершенно иной. Троцкий знал, что хорошо для народа. Он требовал разрешить мелкую свободную торговлю.

Такого пункта в программе Троцкого не было, но интересно, что троцкист приписывал своему учителю желание народных масс.

Пока, однако, народные массы в России вынуждены довольствоваться тем, что "дают". Это не значит, что в Советском Союзе нет торговли. Напротив, торговля здесь процветает и не обходит ни один дом. Можно смело сказать, что нет в Советском Союзе человека, которому в жизни не приходилось заключать обменную или торговую сделку. Вряд ли в мире существует другая страна с таким огромным количеством взаимных торговых сделок. Это тоже один из парадоксов советской жизни: прослойка торговцев ликвидирована, и торговлей занимаются все.

Во время пребывания в Джизаке мне однажды пришлось простоять в очереди за хлебом с четырех утра до позднего вечера. Несколько раз меня сменял шурин. Мы ждали хлеба. Время от времени объявляли, что хлеб должен поступить с минуты на минуту, но он все не поступал. Наконец, после целого дня ожидания, нам сообщили, что хлеба не будет, так как сломалась какая-то машина на мельнице и в пекарне кончилась мука. Длинная очередь на глазах растаяла – люди пошли домой беэ хлеба. Их семьи напрасно ждали дневного пайка.

Назавтра я снова пошел в очередь и подал раздатчице восемь талонов, на всех обитателей нашего домика за два дня.

– Почему вы даете мне вчерашние талоны? – спросила раздатчица.

– Что значит "почему"? Вчера мы хлеб не получили, на мельнице что-то сломалось.

– Думаете, я не знаю, что случилось на мельнице? Знаю, что вчера вы хлеба не получили. Но обошлись, пережили? Значит, все в порядке. За вчерашний день мы хлеб ие выдаем. Возьмите на четыре карточки.

Напрасно я убеждал ее, оиа твердила свое: "Пережили? Значит, все в порядке". Это тоже один из закоиов советской очереди.

Но самый важный урок я извлек, стоя в другой очереди. Все, ожидавшие вместе со мной дневной паек, были голодны. Хлеб был фактически единственной едой. Только немногие могли себе позволить купить иа колхоэном рынке головку лука или

редьку вдобавок к хлебу. Почти сутки стояли они, терпеливо ожидая, не произнося ни одного недовольного слова, ни одной жалобы на порядки. Когда после двадцати часов ожидания было объявлено, что хлеба нет, они без жалоб разошлись по домам. В любой другой стране вспыхнул бы хлебный бунт; в Советском Союзе массовый голод не сопровождается беспорядками.

Я понял, что, вопреки принятому мнению, можно изменить природу человека. Советский режим сумел во многом изменить природу своих граждан, отодвинуть предел страдания, до которого человек может безропотно терпеть. Как этого достигают? Спросите НКВД и очередь — им известен метод, которым это достигается, и цена, которую за это платят.

В небольшом поселке на полпути между Самаркандом и Бухарой мне сказали, что местный раздатчик хлеба — еврей. Когда-то я слышал, что бухарские евреи сумели сохранить знание библейского языка и даже при советском режиме умудряются обучать Торе своих детей. Поэтому я решил попытать счастья и, протягивая раздатчику карточки, спросил на иврите: „בית-כנסת יש פה?" ("Бейт-кнесет йеш по?" — "Синагога здесь есть?").

Раздатчик посмотрел на меня и спросил на иврите:

— Вы еврей?

Синагоги в городке не оказалось. Но в этом городке у меня хлеба было вдоволь. Еврейская солидарность иногда срабатывает и в Советском Союзе.

Но чаще в очередях приходилось сталкиваться с "солидарностью" другого рода. Почти не было очереди, в которой не слышалось бы:

– Эй, Абрам, чего толкаешься?

– Иван воюет в окопе, Абрам торгует в рабкоопе.

– Знаешь, один Абрашка приехал вчера как бедный беженец, а нашли у него чемодан червонцев.

– Евреи на фронт не идут, дело известное, а чего им идти на фронт? Разве не хватает русских?

Слово "жид" я в очередях почти не слышал. Если не считать концлагерь, я слышал его в России всего один раз. Я шел по центральной улице Ферганы и видел пьяного, который по-русски кричал: "Вырезать всех жидов!"

Разговоры трезвых в очередях помогают понять, каким образом "разрешен" в Советском Союзе еврейский вопрос. Про "хитрого Абрама" говорили в основном подростки лет 15–17, в основном комсомольцы. Значит, они слышали это в школе или дома, а может быть – и в школе, и дома.

ЭПИЛОГ

"Отсюда не выходят", — сказал мне охранник на пути в Печорлаг.

"День освобождения: 20 сентября 1948 года", — записал заключенный в коиторе перевалочного лагеря.

Охранник сказал правду, и заключенный написал правду. Это была правда НКВД, полномочный представитель которого смеялся над "несуществующим государством" и уверенно заявил мне: "Нет, вы еврейского государства не увидите".

И все же...

15 мая 1948 года я стоял перед микрофоном подпольной радиостанции Национальной военной организации (ЭЦЕЛ) и обращался к народу:

> "По истечении многих лет подпольной борьбы, преследований и пыток повстанцы обращаются к вам с благодарственной молитвой. В тяжелой борьбе, в кровопролитной войне создано государство Израиль..."

Никто не спорит, у тирании имеется своя, страшная, правда. Но существует и другая... Да будут благословенны те, кто отвергает правду грубой силы, кто отвергает всемогущество деспотизма. Многих из

них ожидают жестокие допросы в черные тюремные дни и каторжный труд в белые ночи. Но пройдет время, и наступит светлый день, взойдет и улыбнется им солнце.

1952 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие 3
Глава 1. А ордер на арест есть? 9
Глава 2. Власть НКВД 24
Глава 3. Шестьдесят часов лицом к стене 37
Глава 4. Закон мести 50
Глава 5. Кто на "Б"? 64
Глава 6. Переводчик помогает 78
Глава 7. Ночные допросы продолжаются 103
Глава 8. Признаю или признаюсь? 118
Глава 9. Загадка "признаний" 129
Глава 10. На пороге 146
Глава 11. Голодовка 157
Глава 12. Суд 171
Глава 13. Прощание 175
Глава 14. Плевательницы 184
Глава 15. В белые ночи 192
Глава 16. Советские заключенные рассказывают 205
Глава 17. В сопровождении оркестра 232
Глава 18. Перевоспитание 247
Глава 19. Этап 253
Глава 20. Цель и средства 272
Глава 21. Странствия 285
Глава 22. Власть и равенство 296
Глава 23. Очереди 305
Эпилог 316